



ЕВГЕНИЙ ВОРОБЬЕВ

# „Язык“ мой – враг мой

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»



Цена 16 коп.

Плоска 11 к





ЕВГЕНИЙ  
ВОРОБЬЕВ

# „Язык“ мой — враг мой

МАЛЕНЬКИЕ РАССКАЗЫ  
О БОЛЬШОЙ ВОЙНЕ

РИСУНКИ  
ОРЕСТА ВЕРЕЙСКОГО

**Воробьев Е. З.**

**В75** «Язык» мой — враг мой. Маленькие рассказы о большой войне. Рис. Ореста Верейского. М., «Дет. лит.», 1974.

63 с. с ил.

Рассказы о воинских подвигах в грозные годы войны, о разных фронтовых «профессиях».

**В** 70803—477  
М101(03)74 257—74

**P2**



## «ЯЗЫК» МОЙ — ВРАГ МОЙ

Капитан выслушал рапорт, помрачнел и сказал с тяжелым вздохом: — Ну и дела-а... Хочешь — живи, хочешь — за борт прыгай.

Если бы капитан на свой манер обругал Бекасова тюрьей или как-нибудь еще, у того отлегло бы от сердца. Но капитан даже ни разу не ругнулся.

Он молча достал папиросу и закурил жадно, подолгу затягиваясь. То, что капитан забыл угостить разведчиков, тоже было плохим признаком. Значит, он вконец расстроен.

Бекасов виновато переступал с ноги на ногу и очень внимательно рассматривал свои сапоги. Фоминых, большой и нескладный, то и дело одергивал сзади гимнастерку, ощупывал бегающими, суетливыми пальцами пряжку ремня.

Капитан Квашнин досадовал на себя за то, что несколько легкомысленно обещал командиру дивизии прошлой ночью «языка». Следовало учесть, что немцы напуганы двумя последними вылазками и приняли меры предосторожности.

Сержант Бекасов думал о том, что подвел командира самым постыдным образом. У него было такое ощущение, словно он нахвастался, как мальчишка, наобещал, а потом ничего не сделал. Больше всего он бо-

ялся, что ему не позволят сделать третью попытку и, не дай бог, поручат дело кому-нибудь другому.

Фоминых тоже было не по себе. Он думал о том, что зря затеяли поиск в тяжелый день, каким считал понедельник, но сказать об этом капитану не решался. Фоминых виновато покашливал в кулак, снова хватался рукой за пряжку ремня, опасаясь, как бы она по всегдашней дурной привычке не съехала набок.

В ночь под прошлую среду Бекасов и Фоминых перерезали провод, чтобы подкараулить телефониста. Способ очень простой: он пойдет по шестовке в поисках обрыва и попадет к ним в руки.

Они в самом деле захватили немца живьем. Но когда уже было рукой подать до нашей проволоки, немцы заметили разведчиков, открыли огонь и убили пленного, которого Фоминых тащил на спине.

— Продырявили «языка», — сокрушался тогда Фоминых. — И фляжку в двух местах пробил. Вся вытекла, до капли.

— И до чего подлый народ эти фашисты! — сказал в тон ему Бекасов. — Оставили группу обеспечения без водочки. Хлебнуть с горя и то не дали...

— Хороши шутки! — мрачно сказал Фоминых. — Полная фляжка.

Минувшей ночью Бекасов и его «группа обеспечения» снова ушли за линию фронта, перерезали толстый штабной провод в девять ниток и устроили засаду.

На этот раз немцы отправились на поиски повреждения под охраной броневика. Бекасову очень хотелось ввязаться в драку, но в разведке он работал без азарта, не горячился, а потому отказался от этой затеи, тем более что противотанковой гранаты у него с собой не было.

— Так и пришли с пустыми руками, — закончил Бекасов невеселый рапорт.

— Раз на раз не приходится. — Капитан внимательно поглядел на разведчиков, которые стояли понуриив головы, и строго добавил: — А нос вешать нечего. «Язык» от нас не уйдет, и доставите его именно вы. Так и знайте! Вы, и никто больше.

— Понятно, — поспешил заверить Бекасов, просяив. — И насчет носа тоже понятно.

Ночью Бекасов долго ворочался с боку на бок. Впервые за всю войну он не смог заснуть, когда имел на это право.

Перед утром Бекасов, так и не осиливший бессонницу, растормошил Фоминых.

— Вставай, Тихон Петрович, дело есть.

— Что случилось? — испуганно спросил тот, садясь на хвойной лежанке и протирая глаза.

— План приснился мне дельный. Придумал, как фрица перехитрить. Пришло время нам сниматься из этого блиндажа.

— Ночь еще не вся... — Фоминых обиженно засопел и обдернул рубаху.

— Курортничать больше нельзя. — Бекасов уже собрал свой вещевой мешок. — Так что собирайся, поскольку ты — группа обеспечения.

— Как бы луна не подпутала. Она еще дня три...

— Одевайся, одевайся. С луной мы как-нибудь поладим, — перебил Бекасов.

Фоминых знал, что спорить с Бекасовым бесполезно, а поэтому покряхтел, повздыхал и нехотя начал одеваться.

— А не тринадцатое число сегодня? — спросил Фоминых подозрительно и перестал натягивать штаны.

— Четырнадцатое, — успокоил его Бекасов. — И понедельник тоже, слава богу, прошел. Так что одевайся. И черная кошка нам дорогу не перебежит, за это я ручаюсь.

Ночью Бекасов и Фоминых отправились на промысел, за линию фронта. Накануне сержант доложил свой план капитану Квашнину, тот одобрил его и сам проводил разведчиков в путь-дорогу до прохода в минном поле.

— Ну, ребята, малых льдов! — сказал на прощание капитан.

Напутствие полярных моряков прозвучало довольно странно на поляне, поросшей редким ельником, на весьма сухопутной Смоленщине.

Ночь выдалась темная — молоденькая луна заплуталась где-то за облаками. Немцы жгли ракеты, пытались неживым светом раздвинуть черноту ночи.

Разведчики благополучно добрались до шестовки и зашагали вдоль нее, подальше в тыл. Провода не было видно, шли наугад, от шеста к шесту, торопясь дойти до лесочка.

Бекасов выбрал место для засады. Он решил обмануть немцев: перерезал провод, взялся руками за концы и принялся то соединять их вместе, то вновь разъединять. Где-то в трубке, приложенной к уху немца-телефониста, в эту минуту начало циркать — будто провод перетерся и, раскачиваемый ветром, то дает контакт, то не дает.

Фоминых, как всегда, устроился в засаде с удобствами. Он подстелил на мокрый снег хвойных веток и улегся за корягой, у вымерзшего болотца.

— А места-то здесь зайчиные, — неожиданно сказал Фоминых, наклоняясь к самому уху Бекасова. — Тут хоть по чернотропу, хоть по пороше за косым ходить. И зимой по сугробам тоже хорошо. Ну, а сейчас срок охоты уже вышел...

Фоминых помолчал и потом добавил, сокрушаясь:

— Чудно! На зайцев и то в мирное время сроки заводили. А сейчас на людей без сроков охотятся.



Бекасов удивился словоохотливости Фоминых — обычно тот часами лежал в засаде, не проронив ни слова, а на вопросы отвечал коротко, односложно.

Бекасов лежал на хвое и смотрел вверх, в темное, беззвездное небо. Холодная ночь в засаде всегда становится еще более холодной.

Фоминых дважды ползал к месту обрыва и долго играл концами провода. Сонливый и вялый на отдыхе, в деле Фоминых был подвижен и предприимчив.

Немец, надсмотрщик, все не показывался.

— Ленивые, дьяволы! — не удержался наконец Бекасов и принялся ругать немецких телефонистов, будто это ему должны были наладить связь.

Разведчики уже отчаялись кого-либо дожидаться, когда вдали замигал фонарик.

Как Бекасов и предполагал, телефонисты пришли вдвоем.

На немца, шедшего впереди, набросился Фоминых. Он вырос как из-под снега и расправился с ним быстро и бесшумно.

Бекасов бросился под ноги второму и свалил его. Немец сопротивлялся отчаянно, но ему мешала катушка с кабелем на спине, да и не так легко было устоять против широкоплечего Бекасова, хотя боролся тот одной рукой, потому что другой крепко зажал немцу рот.

Подоспел Фоминых, и через минуту телефонист лежал со связанными руками, с кляпом во рту и с забинтованным подбородком — словно у него болели зубы.

Немец лежал на снегу и тяжело дышал. Он долго артачился, не хотел подыматься на ноги и идти с разведчиками. Он уже понял, что его обязательно хотят взять живьем, что его жизнью дорожат, а потому капризничал и упирался.

Бекасов нарочно громко заговорил с Фоминых. Он не видел лица немца, но, судя по тому, как тот перестал сопеть и насторожился, понял: немец кое-что понимает по-русски.

— Пожалуй, придется фрица прикончить, — внятно, повысив голос, сказал Бекасов. — В куклы с ним, что ли, играть?

Пленный послушно вскочил на ноги.

Так они и двинулись в обратный путь — впереди всевидящий, не признающий компаса Фоминых, за ним на поводу немец со связанными руками, сзади Бекасов.

Ночь такая темная, что не видно снега под ногами, не видно кисти руки, протянутой вперед. Но Фоминых обладал кошачьим зрением, шел он быстро, уверенно. Никто не мог сравниться с ним в искусстве ходить и воевать ночью.

Когда немец слишком громко сопел или шаркал ногами, Бекасов призывал его к порядку легким подзатыльником.

«Язык» был доставлен, как выразился Фоминых, «в исправном виде» и сдан капитану «на ходу», даже с катушкой кабеля в пунцовой обмотке.

Катушку пленный так и приволок на спине — зачем же пропадать добру?

В блиндаже Квашнина при свете «летучей мыши» Бекасов мог наконец как следует разглядеть немца. Бекасов спросил у переводчика, как зовут немца, и записал имя в книжечку. Он вел список своих «языков», и все они значились под именами: Курт, Вилли, Рихард, еще один Курт, Фриц, Хельмут, Михель, Адольф и еще один Рихард.

Бекасов, выяснив, что немца зовут Карлом, потерял к нему всякий интерес. Все равно, кроме «капут», «цурюк» и «хенде хох», Бекасов не понимал по-немецки ни слова.

1943





## НА ТОТ БЕРЕГ

Никогда еще комбат Желудев не был так зол на луну, как сейчас. Она повисла на почти безоблачном небе, подобно осветительной ракете невиданной силы и живучести.

— Зря, — укоризненно сказал Желудев, обращаясь то ли к своим саперам, то ли непосредственно к небесному светилу. — Вот уж действительно — ни к селу ни к городу...

Желудев передернул плечами и ушел в избу, сильно хлопнув дверью.

Штаб батальона расположился в крайней избе. Из садика, огороженного ивовым плетнем, открывался вид на реку Проня, ставшую сегодня линией фронта, и на оба берега: восточный — отлогий, песчаный и западный — холмистый, поросший лесом.

Трепетные тени падали от плетня, от крыши, от голой худосочной яблони. Под яблоней находился наблюдательный пункт батальона.

Чернота теней подчеркивала силу света, который посылала полная

луна цвета новенькой медной гильзы. Река, берег, дорога и деревушка на косогоре — все было залито светом.

Луна посеребрила реку и сделала отчетливой линию восточного берега, в то время как противоположный берег, поросший ельником, оставался в тени.

Фашисты были настороже и, как только замечали на берегу что-нибудь подозрительное, открывали сильный огонь.

Желудев послал к реке две группы разведчиков: одну — на поиски брода, другую — на поиски лодок и переправочных средств.

Брода найти не удалось: по словам жителей, редко в какой год он вообще существовал. Недалеко, выше по течению, Проня принимает два притока и сразу берет большую силу.

— Демин и тот воды досыта нахлебался, — доложил командир отделения Григорий Орел и оглядел всех смеющимися глазами. — Не хватило бедняге росточка.

Демин был худой верзила, ста девяноста двух сантиметров роста, самый высокий в батальоне.

Все улыгнулись, и только Коршунов стоял хмурый и озабоченный. Он считал шутки сейчас неуместными.

Лодок и плотов найти тоже не удалось. Саперы под командой младшего лейтенанта Коршунова обшарили весь берег, обошли задами, огородами всю деревню — ничего, кроме полузатопленной изувеченной плоскодонки.

Коршунов стоял с виноватым видом, точно это он недосмотрел за фашистами и позволил им угнать на тот берег всю флотилию деревенских рыболовов, точно по его, Коршунова, вине батальон лишен сейчас всяких переправочных средств и стрелки не смогут с ходу форсировать реку.

Коршунов, крижистый и солидный, сорока двух лет от роду, в начале наступления был старшиной. И сейчас, в офицерском звании, он никогда не расставался с топором и малой саперной лопаткой, потому что без них — как без рук.

Он был нетороплив в движениях и словах, но всегда все успевал, делал все быстро, и удача сопутствовала ему.

Тем более он был огорчен сейчас, когда знал, что дело решает каждая минута и что стрелковые роты с пулеметами, минометами и всем хозяйством нужно переправить через реку до рассвета, пока фашисты не успели как следует закрепиться на том берегу.

Желудев не задавал Коршунову никаких вопросов: он был уверен в его находчивости и старательности.

— Что ж, придется сколачивать плоты, — сказал Желудев мрачно. — Только вот как в срок уложимся? А тут еще луна бестолковая, не ко времени. Не дадут, гады, работать на берегу... Ну, да как-нибудь, не впервой!

Начинать рубку и сплотку, когда стрелки вот-вот должны появиться в деревне, и всем некогда, и все торопятся на тот берег, было не очень весело.

— Тут старичок местный, Данилой Ивановичем кличут, вас на улице дожидается, — сказал Коршунов нехотя. — Хвалится: может переправу быстро наладить.

— Как же это?

— А кто его знает! Секретничает. Говорит — только капитану могу свой маневр доверить.

Желудев торопливо вышел из избы, отсутствовал минут десять и вернулся вместе с Данилой Ивановичем.

Тот был в рваной, грязной поддевке.

Войдя в избу, он поспешно снял картуз с помятым, общипанным козырьком. Но держался старик с достоинством и всей своей выправкой показывал, что он солдатского роду-племени.

Спутанные волосы его были тоже неопределенного цвета и напоминали паклю. Борода забыла о существовании ножниц и расчески: казалась, волосы растут отовсюду — из ушей, из носа и даже из рта.

Желудев сел за столик, разгладил рукой карту.

— Будем переправляться на воробтах, — сказал он и, торопясь предупредить всеобщее недоумение, пояснил: — Да, да! На обычных воротах.

Желудев опять разгладил карту. Он низко склонился над новеньким серовато-зеленым, в голубых прожилках, листом полуверстки. Затем порывисто встал, с шумом отодвинул скамейку, но сказал спокойно, не повысив голоса:

— Ворота перенесем по ивняку, южнее деревни. Противник той дороги не просматривает, прицельного огня не ведет.

Желудев обычно ругал фашистов последними словами, и «гады» было самым безобидным в этом словаре. Но, разрабатывая операцию, он всегда говорил значительно и строго: «противник».

Данила Иванович стоял по-прежнему без картуза, но смотрел гордо.

Через минуту они шагали вместе с Коршуновым по деревне от дома к дому и осматривали ворота. Попадались жидкие, нестоящие, но были и добротные, надежные — только снять с петель, дотащить до реки и на них спокойно может грузиться расчет со своим «максимом».

Коршунов шел как будто не торопясь, вразвалку, да еще и сигарку свертывал на ходу, но пойдй поспей за ним! Дед Данила бежал рядом вприпрыжку и на ходу рассказывал:

— Совсем хотел фриц обезлюдить деревню. Мы в лесу от него схоронились. Он и деревню хотел казнить, да вы аккуратно подоспели...

Коршунов слушал Данилу Ивановича, но не выказывал особого интереса или сочувствия, которого тот ждал: Коршунов был обижен давешним недоверием старика. Нашел с кем скрытничать!

Вдоль деревенской улицы тянулась шестовка. Быстро же отступили фашисты, если не успели смотать провод и собрать шесты с железными наконечниками.

Коршунов выдернул один шест, напоминающий длинное копье, ударил им о землю и сказал удовлетворенно:

— Пойдет!

Не прошло и часа, как шестнадцать ворот были готовы к переправе. Половинки ворот решили для устойчивости связывать по двое, и немецкий провод оказался здесь весьма кстати. Немецкие шесты тоже пригодятся...

Желудев сам облазил весь берег и выбрал место для переправы: иньяк подступал там почти к самой реке.

Желудев все поглядывал в тревоге на небо. Погода, к счастью, улучшилась: свежий северный ветер гнал тучи. Лунный свет пробивался лишь сквозь дымчатые окна в тучах.

— Жмать надо, жмать! — подгонял саперов Желудев.

Он с удовольствием твердил это неправильное, но энергичное словцо.

Домохозяйева помогали саперам как умели, сами перетаскивали ворота к реке.

Только Тихоновна, жена Данилы Ивановича, отнеслась к его затее неодобрительно:

— Ворота снимать! Виданное ли дело? До чего додумался, старый дурак!

— А у тебя что, корова со двора уйдет? — спросил Данила Иванович не без ехидства.

Корову угнали фашисты, и Тихоновна до сих пор не могла прийти в себя от горя.

Данила Иванович хорошо знал шумный, но уступчивый характер своей старухи, и кончилось тем, что она сама помогала тащить ворота к реке.

Данила Иванович суетился больше всех, совсем загонял своего связного, внука Кастуса, и даже покрикивал на бойцов.

— Приказ выполнили и, можно сказать, перевыполнили, — доложил вскоре Коршунову дед Данила, взяв руки по швам.

Стрелковые роты подтянулись к двум часам ночи и, минуя деревню, спустились к реке.

Погода шла на улучшение: рваные тучи сгустились и надежно закрыли луну своей черной толщей.

На реке против деревни Желудев поднял переполох. На берег притащили несколько обструганных бревен и оставили их на виду у самой

воды. Григорий Орел и Демин подползли к брошенной немцами пушчонке, повернули ее дулом к реке, укрылись за щитом и начали бить по нему обухами, подражая перестуку топоров.

Немецкие ракеты повисли над водой, и минометы зачастили так, точно фашисты решили запрудить реку осколками или нагреть ими ледяную ноябрьскую воду.

Тем временем в шестистах метрах ниже по течению уже отчаливал от берега первый плот.

В последнюю минуту на ворота, связанные проводом попарно, прыгнул с берега еще один человек с шестом. Он прошел по плоту на цыпочках, будто от этого становился легче.

— А ты чего на том берегу забыл? — строго спросил Коршунов, признав в пассажира деда Данилу.

— Надо же кому-нибудь пустую посуду обратно гнать...

Данила Иванович не выпускал шеста из рук до рассвета и ушел, когда на тот берег переехали девушки с санитарными сумками, походная кухня и были переправлены ящики с патронами и прочие боевые припасы.

Фашисты обнаружили переправу только утром, когда она опустела. Два «юнкерса» кружили над плотами, сбросили на всякий случай несколько бомб, расщепили и изрешетили с десятков ворот.

Желудев и его саперы с того берега в деревню уже не вернулись, но через два дня пришли другие и, сославшись на приказ какого-то полковника, начали мастерить ворота.

— Вышел по дивизии приказ: всем пострадавшим от переправы справить ворота, чтобы дворы не стояли настежь, — сообщил старший плотничьей команды, черноусый низенький сержант; он был почти одного роста со своей большущей пилой.

Саперы плотничали два дня, и все это время Данила Иванович от них не отлипал.

Когда ему сколотили ворота и Тихоновна вынесла бойцам угощение, дед тоже пристроился к ним, но сам не ел, больше давал советы.

— Ты ложкой, ложкой маневрируй! — наставлял он сержанта. — Маневр в нашем военном деле — первая статья.

И дед, уже в третий раз, принимался рассказывать о переправе:

— Думали, совсем наша деревня Холмичи забытая. А мимо нее, оказывается, и лежит главная дорога для нашего войска. Здесь-то ее, Проню, и форсировали.

С некоторых пор Данила Иванович очень пристрастился к слову «форсировали» и употреблял его часто и не всегда к месту.

— А как, спрашивается, мы ее форсировали?

— Опять форсишь? — прикрикнула на старика Тихоновна. — Садись уже есть, вояка, прости господи...

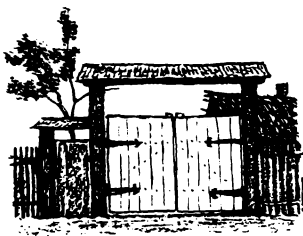
— А чем не вояка? — запетушился дед и подмигнул саперам, как бы говоря: «Что она, штатская старуха, понимает? Мы-то люди военные. У нас свои разговоры».

Перед вечером саперы ушли. Пилы они взяли на плечи, винтовки висели за плечами.

Провожали их всей деревней.

Новенькие, свежееобструганные ворота весело смотрели вслед саперам. Белизна молодого теса казалась почти сверхъестественной рядом с ветхими избами, которые почернели от времени и ссутулились по-стариковски...

1943







## БУТЫЛКА ИЗ-ПОД ЛИМОНАДА

Все ушли, и человек остался в окопе наедине с ветреным вечером. Не с кем перекинуться словом, некому дружески протянуть кисет с махоркой, нет никого, кому в случае нужды можно доверить свою последнюю просьбу.

Стебли травинок колышутся на уровне глаз — пожухлая трава, зимовавшая под снегом.

Терехов сидит в сыром, глубоком окопе, на опушке березовой рощи, с юга вплотную подступающей к Можайскому шоссе.

Снег виднеется только на той стороне шоссе, на склоне холма, обращенного к северу. Снег давно потерял белизну, он лежит, подточенный водой, похожий на грязную пену.

Когда совсем стемнело и на небе обозначились первые звезды, в гости к Терехову наведалься его сосед Ксюша. Так во взводе прозвали Ксенофонта.

Ксюша молча уселся на бруствере, свесив длинные ноги в тереховский окоп, и свернул самокрутку.

Полковая разведка предсказала атаку немецких танков на раннее утро. И хотя Ксюша клялся и божился, что танки пойдут южнее рощи, на душе Терехова было тревожно. Да и сам Ксюша был серьезнее обычного, не балагурил. Он выкурил самокрутку, не проронив ни слова, пряча огонек в рукав.

— Звезды-то сегодня какие... — сказал наконец Ксюша, взглядыаясь на небо, и вздохнул.

И хотя звезды на небе были такие, как всегда, Терехову они тоже показались краше, чем обычно.

Ксюша, не прощаясь, направился к своему окопу через шоссе. Он не прошел и десяти шагов, а ночь уже затушевала его долговязую фигуру.

Терехов выгреб со дна окопа несколько касок воды, поправил подстилку из жердей, хвойных веток и встал, прислонившись к стенке. В окопе пахло сыростью.

«А может, Ксюша прав? Что же тут невероятного? Танки пойдут южнее, с другой стороны шоссе, а я спокойненько просижу в окопе».

Было необычайно приятно думать так.

В земляной нише на хвойных ветках — тереховский арсенал.

Терехов протянул руку, нащупал в нише связку гранат.

Днем он накрепко перевязал их обрывком провода: четыре рукоятки в одну сторону, пятая — в обратную. Вот за рукоятку этой пятой гранаты, поставленной на боевой взвод, и надо братья при метании.

Тяжела эта связка до невозможности. Далеко никак не забросить, а ведь ее полагается бросать из укрытия. Уж на что Ксюша, черт длиннорукий, не хилого десятка, но и тот, когда первый раз примерился к связке, разочарованно прокряхтел.

«Пожалуй, молодому Ивану Поддубному она пришлась бы по руке, — сказал Ксюша. — А в нашем взводе такие силачи не водятся». Забрел во взвод слушок, что скоро пришлют не то ружья какие-то особенные, крупного калибра, не то особые гранаты, которых танк боится. Где же они, эти ружья и гранаты? Так и будем связывать ручные гранаты букетами?

Когда Терехов учился в ФЗУ, он читал, как в Испании поджигали фашистские танки. Какой-то республиканец не то под Мадридом, не то в другой местности с трудным названием вскарабкался на малом ходу на танк, поджег его горючей бутылкой и прыгнул невредимый. Или газета постеснялась рассказать все, как было на самом деле, и сочинила для читателей счастливую концовку?

Бутылки с жидкостью КС лежали в той же нише окопа рядом с гранатами, безобидные и какие-то очень мирные. Терехов провел ладонью по стеклу. Вчера перед сумерками, укладывая бутылки в нишу, он удивился, что эта дурно пахнущая зажигательная смесь — лимонадно-го цвета. На стекле уцелели этикетки завода фруктовых вод. В темноте их не видно, но Терехов помнит, что на них изображен пенящийся бокал, а под ним написано: «Натуральный лимонный напиток».

Усталый Терехов закрывает глаза, уверенный в том, что сейчас заснет. Он не боялся заснуть, всегда спит чутко, до первого шороха. Но как часто бывает в такие минуты, сон бежит прочь.

Наконец Терехов засыпает, но и во сне ему мерещатся бутылки из-под лимонада. Правда, эти бутылки не лежат на хвойных ветках, от них не воняет тухлыми яйцами. Бутылки стоят на полке нарядного киоска, рядом горят на солнце красным и желтым цветом столбики с сиропом.

Перекресток аллеи где-то на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Останкино. Жара. От нее не спасает тент над прилавком, у которого томятся жаждущие.

«С сиропом или без?» — устало и безразлично, может быть, в тысячный раз за день спрашивает молоденькая продавщица в белоснежном халате, с белой наколкой на волосах.

«Мне бутылочку лимонада», — просит Терехов.

Девушка моет стакан, опрокинув его вверх дном на круглый никелированный диск. Холодные капли попадают на лицо и приятно освежают. Терехов медленно один за другим выпивает два стакана лимонада. Движется очередь, девушка уже несколько раз повторила свое: «С сиропом или без?» — и Терехову приходит на память анекдот о продавщице, которая спрашивает у покупателя: «Вам без какого сиропа: без вишневого или без клюквенного?»

Терехов выплескивает остатки лимонада на асфальт, сладкая лужица тотчас испаряется. Асфальт размягчен зноем, на нем видны следы каблучков.

В конце аллеи гремит музыка. Терехов шагает ей навстречу, но, чем ближе подходит к оркестру, тем менее отчетливой становится мелодия. Барабан и литавры подавляют все остальные инструменты, барабану и литаврам нет удержу, они заглушают все, лязг металла бьет в уши...

Терехов открывает глаза, смотрит вверх бруствера. Серые стебли травинки колышутся на уровне глаз.

Он прислушивается к металлическому скрежету. Сомнений нет — танки!

Березовая роща впереди уже чувствует приближение рассвета, хотя стволы берез еще черны. Ветер колеблет голые верхушки деревьев в бледно-зеленом небе. Терехов невольно вытягивает голову в плечи, но продолжает вглядываться вперед.

Танки идут, пока еще невидимые и потому особенно страшные. Один танк, по всем признакам, направляется к опушке рощи. Очертания его смутно угадываются в предрассветный час, но сиреневые вспышки из выхлопной трубы точно указывают маршрут.

Внезапно вспышки гаснут. При выключенном моторе это было бы естественно. Но танк продолжает гроыхать. Выхлопные трубы у него сзади, и, если вспышек не стало видно, значит, танк изменил направление и движется к окопу...

«Сюда, — холодеет Терехов, и сердце его стучит так, что заглушает железный гул танка. — А кто-то называл танк черепахой. Тоже назвали черепаху! Посмотрели бы, как этот черт шпарит. Черепахал!»

Танк быстро приблизился, уже можно было различить его силуэт. Он свернул южнее, к шоссе, но побоялся, что шоссе заминировано или пристреляно, перевалил через кювет и пошел по обочине шоссе, по мелкоколесью. С каждой секундой становилось очевидней, что танк к окопу Терехова не подойдет. Он двигался южнее опушки, совсем близко от шоссе, и должен был оказаться на пути соседней группы истребителей.

— Мимо, мимо, мимо, — шептал в радостном исступлении Терехов. — Мимо меня. Я могу остаться в окопе. Это не мой, это соседский танк. Мимо!

И в самом деле, то был не тереховский танк. Подминая кусты и молоденькие березки, он вышел метрах в шестидесяти от тереховского окопа.

Танк остановился и открыл огонь вдоль шоссе.

«Прорвется, — всполошился Терехов. — Прорвется и наделает бед». А кто-то на него, сержанта Михаила Терехова, надеется. Надеется на него старший лейтенант Булахов, старший политрук Старостин, командир полка, командующий фронтом, а может быть, и сам Верховный Главнокомандующий... Конечно, танк далеко, бутылки не добросить. Но ведь в том кювете сидит Ксюша — ему ближе и удобнее. Что же он молчит — ранен, убит? И танк некому задержать!

Терехов ужаснулся, когда увидел, что танк тронулся с места и осторожно двинулся вперед. Черный приземистый профиль машины медленно плыл на бледно-зеленом фоне неба.

Где-то за рощей на юге послышались разрывы, там разгоралось зарево. Оно перекрасило верхушки берез в оранжевый цвет.

«Танк горит. Честное слово, танк! — догадался Терехов. — Ну да, так и есть. Почин дорожке денег. Ай да наши!»

Если бы зарево разгоралось на востоке, а не на юге, его можно было бы принять за рассвет.

Но Терехов не думал сейчас о рассвете, не думал о том, что, возможно, никогда не увидит берез в зелени. Он не думал сейчас ни о чем, кроме танка, который безнаказанно гуляет по дальней обочине шоссе. И казалось, не было силы, которая может его остановить.

«Ну, это мы еще посмотрим», — озлился Терехов.

Он быстро надел на плечо сумку и, как только решился на это, сразу стал удивительно спокоен.

Терехов вложил в сумку бутылки, поправил каску, расстегнул ворот. Ему показалось жарко и тесно в окопчике.

Внезапная сила вытолкнула его из окопа и швырнула через шоссе вдогонку за танком. Больше всего его злил почему-то белый крест, нарисованный на башне танка.

Терехов побежал, скользя по раскисшей земле, спотыкаясь о кочки и пеньки. Левой рукой он бережно придерживал на боку сумку.

В танке заметили бегущего, и воздух над его головой прошла зеленая трасса. Казалось, все пули до одной просвистели мимо самого уха. Терехов мгновенно упал на землю правым боком, все так же бережно придерживая драгоценную сумку, отполз в сторону и снова вскочил на ноги.

Уловка удалась — башенный стрелок потерял его из виду.

Метрах в двенадцати от танка Терехов плюхнулся в лужу. Он пробежал совсем пустяк, но запыхался.

Он встал на колени, расстегнул сумку, нащупал бутылку, но решил почему-то бросить сперва вторую бутылку, будто это имело какое-нибудь значение. На память опять пришла прилипчивая, неуместная шутка: «Вам без какого сиропа: без вишневого или без клюквенного?»

Зажигательную бутылку КС опасно брать при метании за горлышко. Терехов взял бутылку в обхват, ладонь легла на этикетку с пенящимся бокалом.

Он замахнулся, откинувшись всем телом назад, и швырнул бутылку в танк. Всю силу, всю меткость, всю свою злобу вложил он в этот бросок.

Терехов испугался, не услышав звона разбитого стекла: «Промач!» Но тотчас же на броне показался огонь. Розовые языки зашевелились на ветру. Жидкое пламя растекалось все больше, и вскоре огонь охватил корму танка.

Над танком поднялся столб черного дыма, и до Терехова донесся запах горелой резины. Но башенный стрелок по-прежнему строчил зеленым свинцом, и Терехов припал за пенечком к земле.

Терехов знал, что позади танка, в нескольких метрах от него, есть мертвая зона обстрела, где пулемет бессилен.

Он подполз еще ближе. Стало так жарко, что от мокрой шинели пошел пар.

Терехов нащупал в сумке другую бутылку и разбил ее о башню. Огонь взялся с новой силой, огненные клыки показались на броне. Верхний люк открылся, и над ним показалась голова в шлеме.

Терехов едва успел вспомнить о том, что винтовка осталась в окопе, как услышал очередь из пулемета, и фашист провалился в люк. Пулемет был голосистее танкового, у которого звук отчасти поглощается машиной. И Терехову стало радостно от мысли, что за его поединком следили и вовремя пришли на помощь.

Чадный зной заставил его отползти в сторону, в темноту.

— Сюда, сюда, товарищ сержант, — зашептал кто-то совсем близко, прерывисто дыша.

Кто-то махал левой рукой. Голова его лежала на бруствере окопа. Терехов полз от света и потому не сразу узнал человека в лицо.

— Ксюша!

— Горит! — воскликнул в ответ Ксюша, будто он сообщал товарищу свежую и поразительную новость.

Терехов услышал, что Ксюша тяжело дышит.

— В плечо, — сказал Ксюша, морщась от боли. — Только замахнулся — и вот...

Рядом на бруствере лежала связка гранат. Ее не смогла удержать простреленная рука — сильная раньше, беспомощная теперь.

Утро застало Терехова в чужом окопе за перевязкой. Окоп был мелковат для долгоязого Ксенофонтова. Как он сам об этом не подумал? Может, земля уберегла бы его, бедолагу?

В танке уже взорвалось все, что могло взрываться, а он еще исторгал в небо вонючую копоть, и непонятно было, откуда в нем взялось столько горючего материала.

Ветер сносил смрадный дым на белые стволы берез, которые сейчас, утром, стали оранжевыми.

1942





## ХОДКАЯ ФАМИЛИЯ

Мы сидели с сержантом Перетягиным в блиндаже у камелька и сушили валенки. От подошв, обращенных к огню, подымался легкий парок. Огонь в печурке слабый, и его с трудом хватает на то, чтобы сушить две пары валенок одновременно.

У входа в блиндаж стоит часовой. Труба от печурки выведена прямо в траншею, и часовой подходит, чтобы погреть руки о трубу. Скрипит снег под его ногами.

Из темноты угла блиндажа доносится дыхание спящего, ровное и глубокое. Это, вернувшись с охоты, спал снайпер Александр Иванов. Очень хотелось побеседовать с Ивановым, но будить его было жаль, и я попросил Перетягина рассказать о товарище, о его боевых успехах. Перетягин подбросил в печурку несколько сухих поленьев и начал рассказ:

— На Октябрьские праздники пожаловала к нам делегация тульских рабочих. Заглянули и в наш блиндаж. Иванов как раз винтовку свою чистил: ударили тогда первые заморозки, и мы перешли на зимнюю смазку. Встал он, а руки в веретенном масле — ни поздороваться, ни попрощаться.

«А это, — знакомит гостей командир роты, — наш товарищ Иванов».

«Вы и есть Иванов?» — спрашивает молоденькая делегатка и так ласково на него смотрит.

«Я», — отвечает Иванов.

«Как же, — говорит, — как же, наслышаны мы про вас много. Очень приятно познакомиться».

А у Иванова язык прилип к гортани. Покраснел он, стоит и молчит.

«Да вы не смущайтесь, — говорит делегатка и опять ласково смотрит на Иванова. — Такими делами гордиться нужно, а вы стесняетесь».

Иванов еще больше покраснел, но молчит и только руки ветошью вытирает. Тут мы поняли, в чем дело.

А дело в том, что есть в нашей дивизии снайпер Иванов Владимир — на все окрестности знаменитый стрелок. О нем и в газетах писали и разговор шел повсюду. Вот тульская барышня нашего Иванова за того снайпера и приняла.

Все мы это поняли, но ни у кого язык не повернулся объяснить ошибку. Сам Иванов растерялся, а мы пожалели парня, не хотели его при делегации, и тем более при такой симпатичной девушке, еще больше в краску вгонять.

Делегаты ушли и больше мы их не видели.

После того Саша Иванов весь день ходил хмурый, ни на кого не глядел, а вечером, когда мы остались вдвоем, спросил:

«Ты того Иванова, снайпера, видел?»

«Нет, — говорю, — только в газете про него читал».

«Интересно бы познакомиться. Все-таки однофамилец. Сколько у него на счету?»

«А это сообщают».

Я достал номер нашей дивизионной газеты с портретом снайпера Иванова. Может, фотограф неправильно свою прицельную рамку поставил, но поймал Иванова в оптический прицел или как он там у них называется, а только фотография получилась темная. Стоит человек как в дыму. Личность разобрать трудно, но внизу под портретом ясно написано: «Тридцать три немца отправлены Владимиром Ивановым в недра русской земли».

«Вот это — настоящий Иванов! — сказал Саша. — Не зря тогда барышня меня, то есть его, поздравляла».

И улегся спать.

Утром мы Александра на месте не нашли. Он пришел к обеду.

«Где был?»

«У оружейников», — ответил он нехотя.

На другой день он опять ушел из блиндажа до свету, а явился только к ночи.

«Где был?»

«На охоте». По глазам было видно, что настроение у него веселое.

Пристрелился он к этой охоте до последней степени. Командир роты дал ему в наблюдатели бойца Кампанцева, снабдил того наблюдателя биноклем. Вот они вдвоем на опушке рощи Квадратная и караулили немцев.



Перетягин подложил в печурку полено, прислушался к дыханию спящего и продолжал вполголоса:

— Уйдет Иванов на охоту, свои захотят найти — никак не смогут.

Зимой на снайперской должности состоять трудно. Час, два, три лежать в снегу, не шевелиться — это не всякий может. Тут нужен человек с прилежным характером.

Костер тоже под носом у немцев не разложишь, а на кухню ходить некогда. Снайперская жизнь известная: на ладони пообедаешь, из пригоршни напьешься. Иногда до того в снегу належишься — сигарки не свернешь: не гнутся пальцы. Или положишь палец на спусковой крючок, а железо к пальцу прилипает. Мороз! Хочется поскорее влезть рукой в рукавичку, а нельзя — можно фашиста проворонить.

С полмесяца назад подался и я на охоту вместе с Сашей Ивановым. Пришлось и мне акты на мертвых фрицев составлять. Там-то и там-то, мол, тогда-то и тогда-то снайпер Иванов с такой-то дистанции убил фашиста. В чем и расписываюсь, наблюдатель такой-то, то есть Перетягин.

Не с первым снайпером вожу я знакомство, сам хожу на охоту, но скажу откровенно: такого мастера нужно поискать. За два месяца — и так поднялся! Если по нашей ротной жизни судить — простодушный, веселый паренек, и профессия у него до войны такая открытая была, вся на виду — инструктор физкультуры. Откуда у него только эта хитрость взялась?

Первой пулей уложит фашиста, а потом еще раза четыре пальнет, уже без прицела. Это чтобы фашисты снайпера не заподозрили. Пусть думают — шальные пули свистят.

Или еще — спрячет свой выстрел за пулеметную очередь. Пойди разбери, что здесь снайпер, когда пулемет все глушит.

Лежал я в тот день с биноклем, наблюдал. Немец вышел из блиндажа — и бегом в глубь леса. Осенью ту тропинку за деревьями не видно было, вот фашисты и повадились по ней ходить. Позже лист облетел, все насквозь стало видно, а тропинка, по старой памяти, у них еще в ходу.

Бежит солдат с котелком пять метров... десять — нет выстрела.

Даже сердце зашлось. Что такое? Почему Иванов моргает? Хоть и трудно того бегущего солдата подстрелить, но вещь возможная.

А Иванов молчит.

Немец скрылся. У меня руки дрожат, бинокль пляшет. Экая досада!

Но вот солдат с котелком опять появился на тропинке. Шагает степенно, не торопится. Здесь он и отобедал. Сразу на всю жизнь. Пришлось мне четвертый акт за день на морозе писать.

«Ну и испугал ты меня, Саша, этим солдатом! — сказал я вечером. — Боялся — упустишь...»

«Тут бояться нечего, — сказал Иванов. — Время было обеденное, значит, ясно — за супом. Зачем же его пугать? Все равно он обратно пойдет, и пойдет тихо, чтобы суп из котелка не расплескать».

И тогда понял я, что Александр наш знатным снайпером может стать, на всю дивизию прослыть.

Так оно и вышло. Вчера он шестьдесят первого фашиста подкараулил — это около горелой березы, за дорогой.

Слух о нем уже по всей дивизии и даже больше, чем про Владимира Иванова, потому что Владимир месяц в госпитале пролежал, а до ранения на своем счету сорок семь фашистов содержал.

Недавно на слете снайперов встретились оба Иванова, познакомились.

Тот, Владимир, смеется и говорит нашему:

«Вот потеха! Пришел ко мне товарищ из газетной редакции и просит про солдата с котелком рассказать. А ведь это вовсе твой солдат. Я и говорю товарищу из редакции: «Ивановы — фамилия ходкая. Немец с котелком моего товарища работа, Александра Иванова». — «Как?! — удивляется товарищ из газетной редакции. — Значит, не вы — известный снайпер?» — «Почему же? — обижаюсь. — Я свою славу имею, но только Александр сейчас впереди шагает, значит, ему и почет громче».

Нужно сказать, что и Владимир воюет храбрейшим образом и в снегу лежать, караулить фашистов, не ленится. Хочет нашего догнать. Так что кто из них будет настоящий, известный снайпер Иванов, а кто только его однофамилец, сказать трудно. А скорее всего, придется обоих в знаменитости зачислить...

Перетягин плюнул на раскрасневшуюся печурку, как бы желая удостовериться, насколько она раскалилась, и начал укладываться на ночлег.

Я лег на хвойный матрац между ним и Ивановым. Иванов по-прежнему крепко спал, совсем по-детски подложив ладонь под щеку и чему-то улыбаясь во сне.

Я намеревался поговорить со снайпером рано утром, но, когда проснулся, Иванова уже и след простыл.

1942





## ДОРОГА НА ДОРОГБУЖ

Человек — не птица, он не умеет спать на деревьях. А вот Жарков спит на деревьях, не привязываясь.

Кроме того, Жарков может, в случае надобности, натыкать веток себе за пояс, за воротник, за голенища и притвориться кустом. Умеет читать следы, как путевые указатели. Умеет плыть так, чтобы из воды виднелась только каска и узкая полоска лица, а спички в кармане оставались сухими.

Жарков не любит воевать в разведке, как он выражается, «впроголодь». Обычно он берет с собой четыре гранаты и два запасных диска к автомату ППД.

Возвращается Жарков налегке и располагается на отдых лишь после того, как вычистит закопченный автомат и завернет его в чистую портянку.

Вернувшись вчера, Жарков допоздна зашивал гимнастерку: ему продырявили правый карман, рукав на локте и обшлаг.

— Что за починка? — спросил Кожухарь, сосед Жаркова по блиндажу.

Кожухарь сидел на хвойной лежанке, обхватив руками колени и положив на них подбородок.

— Немец гранатой распорол. Вот и приходится портняжить. — Жарков не прекращал шить; он держал иглу щепотью, как держат ее люди, не умеющие шить.

— Прямо как в «американке», — хохотнул Кожухарь, следя за иглой. — Ремонт одежды в присутствии заказчика. Жаль только, утюга нет на вооружении...

— А как ты думаешь, утюг — холодное или горячее оружие? — добродушно спросил Жарков.

Кожухарь не нашелся что ответить, но не терял надежды разузнать, как прошел поиск. Жарков же во всем, что касается разведки, несловоохотлив. Он шил молча и, только когда притачал третью заплатку, сказал с горечью:

— Хлеба́-то нынче! Такой урожай и старики в бывшее время редко обещали. Только, если согласно примете, березы стояли в инее в первый день рождества... А немец косит рожь перед своими окопами. Боятся, что мы к ним втихомолку подползем, и косит. Хозяева надеялись на хлеб, а рожь мается...

Подоспел сентябрь, и рожь, поднявшаяся в человеческий рост, клоунилась под золотой тяжестью зерна, а кое-где полегла вповалку.

Еще в начале лета Жарков работал механиком Дорогобужской МТС. Наверное, поэтому он не мог равнодушно видеть поля, вытопанные танками, пушками, и мрачнел, когда шагал по брошенным заливным лугам.

Сегодня на рассвете Жарков долго шел лугом. Рослая, буйная трава, не скошенная вовремя, уже потеряла изумрудные тона — пожухла, а все равно держала его за ноги, не отпускала.

— Ты где раньше работал? — неожиданно спросил Жарков у шедшего след в след Добродеева, новичка в их взводе разведки.

— Я человек кочевой. Всех рыб перепугал в реках... Нынче здесь, завтра там... Между прочим, работа мозольная...

Добродеев внимательно поглядел на свои руки и потер ладони, удивляясь, что сошли мозоли.

— А тот мост видел? — Жарков показал рукой в сторону невидимого Днепра; там за обугленным лесом торчали фермы взорванного моста.

Добродеев не ответил, нахмурился. До войны он строил мосты. Кама, Хопер, Зeya, Терек, Белая, Десна, Енисей... Кто подсчитает, сколько тысяч заклепок держат фермы, на которых Добродеев сидел верхом с клепальным молотком? А с начала войны он уже подорвал два моста через Днепр и один через Сож. Пусть они в тылу у противника, но ведь наши мосты! Невесело укладывать под фермы толовые шашки и тянуть от них бикфордов шнур. А к чему было подрывать мосты? Противник наступал, и нужно было его остановить.

Жарков воевал недалеко от родных мест. Каждый раз, когда садилось солнце, он смотрел на запад. Шестьдесят километров до дому. Всего шестьдесят... И эти шестьдесят километров не давали Жаркову покоя...

«Вот же Ельню отбили недавно у неприятеля. И еще сотню деревень к жизни воскресили. Может, и до Дорогобужа скоро наши руки дотянутся?..»

На второй неделе сентября, пока луна еще не набрала силы, Жарков вдвоем с напарником Добродеевым вновь отправился через линию фронта. Добродеев нравился Жаркову — молчаливый, исполнительный, да и силенкой бог не обидел, богатырского здоровья мужичок. И гимнастерка узковата в плечах, и каска — недомерок, уши нагишом, и ремень чуть ли не на последнюю дырочку застегнут.

За час до того, как отправиться в поиск, Жарков узнал, что с ним направляют переводчика техника-интенданта второго ранга Познанского на всякий случай. Если не удастся доставить из немецкого тыла «языка» и втихомолку прошмыгнуть с ним через линию фронта, тогда придется допросить «языка» на месте...

Втроем они должны были присмотреть за перекрестком большака с проселочной дорогой и, если представится случай, подкараулить немецкого посыльного. Особенно нужна майору немецкая карта.

Жарков навьючил на Добродеева часть своего арсенала и еще моток провода. А переводчика Познанского от дополнительной ноши освободил: он и так уже таскает очки на носу. Как бы ему и налегке не отстать от двухжильных ходяков, все-таки человек в летах, городской житель, из фармацевтов...

Они устроили засаду на дороге в Дорогобуж. Добродеев заблаговременно обвязал провод вокруг вяза на той стороне большака.

Сперва, поднимая облако пыли, прошли две цуг-машины с автоматчиками — разведчики их пропустили.

В сумерки вдали за поворотом послышалось стрекотанье. Жарков прислушался и подал знак. Познанский перебежал через большак, притащил свободный конец провода. Этот провод, натянутый на высоте метра поперек большака, они быстро обвязали вокруг могучего вяза, растущего на ближней обочине.

Мотоциклист ехал не слишком быстро и поэтому после аварии сразу же пришел в себя, вскочил на ноги. Он бросился к мотоциклу, но Жарков преградил дорогу:

— Куда прешь?

Даже под слоем пыли и загаром было видно, как мотоциклист побледнел. Он понял вопрос и указал рукой вдоль большака.

— Нах Дорогожуб, — выдохнул он наконец. — Нах хаузе...

— Ах ты, фашистская шкура! — крикнул, не помня себя от ярости, Жарков. — Дорогобуж домом зовешь? Ах ты...

Мотоциклист выхватил парабеллум, но это было последнее, что он

успел сделать в своей жизни. И вот он уже лежал, уткнувшись лицом в дорожную пыль, как в серую подушку.

Когда немец грохнулся с мотоцикла, каска с него слетела и покапала по дороге, загребая пыль. Немец стоял без каски, и участь его, после того как Жарков шарахнул его прикладом по голове, решилась мгновенно.

— Кого я теперь буду допрашивать? — рассердился Познанский. — Вас, сержант, что ли?

Жарков растерянно опустил автомат. Он не мог отдышаться, будто бежал за мотоциклом или долго бился врукопашную.

— Нах хаузе, в Дорогожуб, — твердил он. — Ну и шкура!..

Допрашивая пленных, Познанский уже обратил внимание на то, что немцы вместо «Дорогобуж» произносят «Дорогожуб» и все, как сговорившись, называют Смоленск — Шмоленгс; видимо, такова речевая их особенность.

Добродеев поглядел на лежащего мотоциклиста с печальным недоумением:

— Может, его только оглушило? Вдруг очнется?

Познанский подошел ближе, склонился над немцем и сказал:

— Летальный исход. Современная медицина бессильна.

Он торопливо снял с убитого планшет, раскрыл, перелистал бумаги, развернул карту и принялся ее рассматривать.

Добродеев отволоч убитого в придорожный подлесок, затем перетащил мотоцикл с коляской за обочину с такой легкостью, будто это был велосипед. А Жарков все сокрушался, не отходя от Познанского.

— Нарушил я приказ... Душа зашлась, и память отшибло. Как услышал это самое «нах хаузе», позабыл себя и сорвался с резьбы...

— Может, еще кого подкараулим, — подал голос Добродеев, желая подбодрить товарища.

— А карта оперативная, — повеселел Познанский, — тут и номера полков... Приятный сюрприз!.. Штаб их корпуса под Дорогобужем, сняли дачу в нашем военном городке...

Жарков отвязал повисший провод, свернул в моток и повесил себе на плечо, а Добродеев сказал:

— Может, веревочка в дороге пригодится.

Они углубились в мелкоствольный лес, и там Жарков с деловитостью опытного механика осмотрел мотоцикл.

— «Цундап» в порядке!

Но стрекотать по большаку опасно, и Добродеев поволок мотоцикл по лесной просеке подальше от места происшествия.

Добродеев тащил мотоцикл и помалкивал, а Жарков никак не мог успокоиться, все казнил и ругмя ругал себя за неумную вспыльчивость. Как он только не обзывал себя! И пустопляс он, и ветрогон, и дуrolом несуразный, который дошел до полного бессознания, мож-

но даже сказать, повредился умом... Парабеллум нужно было вышибить из рук у живого фашиста.

Познанский неожиданно для всех, а прежде всего для самого себя, прикрикнул на Жаркова:

— Что за самобичевание? Отставить! Или вы хотите потерять авторитет в нашей группе?

Окрик Познанского помог Жаркову приободриться и заставил его больше думать о делах насущных. К чему ворошить то, что уже припорошила летучая, но такая прилипчивая пыль?..

Весь следующий предвечер они проторчали в засаде на большаке, но немец-одиночка или небольшая группа немцев так и не клюнули на блесну. То по проволоочной леске, лежащей в дорожной пыли, проехало несколько машин кряду, то двигался длинный обоз или автоколонна.

Был случай, Познанский и Добродеев слышали мотор вдали и натянули провод поперек дороги, но не распознали что за мотор шумит, приближается. Пытались своей проволокой цуг-машину заарканить! Немец-водитель остановился после того, как со звоном лопнул натянутый провод. Пассажиры постреляли порядка ради по ближним опушкам из пулемета, из автоматов и двинулись дальше, горланя и гогоча.

Остаться в тылу у противника и караулить нового связного? Или вернуться домой, пока не устарела карта и документы в планшете мотоциклиста? Познанский уже разобрал все готические каракули, расшрифловал пометки на карте.

Жарков склонялся к тому, чтобы задержаться еще на сутки, на двое, пусть даже повоевать до последней гранаты, но поймать «языка». Познанский сочувствовал Жаркову, но убедил его, что это неразумно — слишком ценный планшет маринуют они без толку. Будущий «язык», которого они подстерегут, скорее всего, и половины того не выболтает, что сообщила захваченная карта...

Когда в клубах дорожной пыли показался мотоцикл с коляской, разведчики обедали. Все вскочили на ноги.

— Кого это несет? — терялся в догадках старший лейтенант Маслаченко; он стоял с ложкой в руке, позабыв про пшеничную кашу с мясом. — Наверно, офицер связи.

— Да еще с адъютантом на запятках, — удивился Кожухарь.

Водитель резко затормозил, подняв маленькую пыльную бурю, и соскочил с сиденья. Не успела осесть пыль на придорожных кустах, как водитель, одетый во все серое, подошел к старшему лейтенанту Маслаченко и откозырял:

— Сержант Жарков, техник-интендант второго ранга Познанский и боец Добродеев с задания вернулись. — Доложив, он отдернул от пилотки руку и бросил ее по шву, взметнув облачко пыли, окутавшее всю его фигуру.

Кожухарь с трудом узнал товарищей. Пилотки Жаркова и Познанского, каска Добродеева, звездочки на них, бинокль, снаряжение, гимнастерки, шаровары, сапоги и лица всех троих — в пыли. Черным, блестящим было только кожаное седло, с которого, отряхиваясь, слез Жарков, багажник, где сидел Добродеев, и место в коляске, из которой вылез Познанский; запыленные очки он держал в руке.

— Разведданные у техника-интенданта второго ранга. — Жарков показал на серый планшет Познанского. — А также доставлено средство передвижения. Марка «Цундап».

— Как же вы через линию фронта? — удивился старший лейтенант Маслаченко.

— Мотор приглушил, на ихний глушитель не надеялся. Горючим два раза заправились по дороге. Из наших подбитых танков, — вздохнул Жарков.

— Я и позабыл про твоё штатское звание — механик МТС...

Жарков добавил вполголоса, виновато:

— А что касается «языка», то разговор у нас с ним не получился. И надо прямо сказать — по моей вине. Хотел пригласить фашиста в лес, подальше от дороги — и начертоломил, оглушил до смерти...

Старший лейтенант уже выпотрошил трофейный планшет, увидел карту:

— Как это — разговор не получился? Вся карта в крестиках, номера, пометки. В штабе и не такие кроссворды разгадывают...

Все подробности о прогулке в тыл Кожухарь выспрашивал у Добродеева, а Жарков был замкнут, как всегда.

Отдохнуть ему не пришлось: вызвали вместе со старшим лейтенантом в штаб дивизии.

Жарков опасался, что после недоразумения с мотоциклистом он окажется в штабе у тугухого, заикающегося майора на плохом счету. Но правдивое донесение Жаркова только повысило к нему доверие контуженного майора.

Майор разостлал на столе карту и стал объяснять Жаркову задание. Показал, где перейти линию фронта, вручил снимок железнодорожного моста, который необходимо взорвать. В помощниках снова Добродеев.

— Разрешите идти? — спросил Жарков, аккуратно складывая квадрат полученной карты.

— Идите и помните: мост должен быть взорван. Что бы ни случилось! — Майор говорил подчеркнуто официальным тоном; когда даешь такое задание словами сухого приказа, легче скрыть волнение. — Поняли, Жарков? Что бы ни случилось...

Жарков молча полез в карман гимнастерки, достал фотографию, завернутую в газету, и также молча протянул ее майору.

На войне любят показывать карточки жен и детей. Фронтовики по-



казывают семейные фотографии с гордостью, лица их при этом светлеют, а Жарков скривился, как от боли.

Майор не хотел обидеть Жаркова и взял снимок, хотя не считал, что время для воспоминаний выбрано удачно.

Со снимка смотрела пышноволосая блондинка. Рядом с ней, держась за спинку кресла, стоял мальчонка в матроске с якорем на рукаве. Мальчишечье лицо выражало крайнюю озабоченность, ее не смогла стереть ретушь провинциального фотографа. Майор внимательно разглядел фотографию.

— Мои, — сказал наконец Жарков после молчания. — Расстреляли из самолета. По дороге из Карманово в Дорогобуж. Немного они отшагали от дома. Мальчика Олегом звали, жену — Лидой. — И с крутой внезапной силой продолжал: — Как же после этого у меня задрожит рука или душа струсит? Так что, товарищ майор, мост можете мне доверить...

И голос его дрогнул.

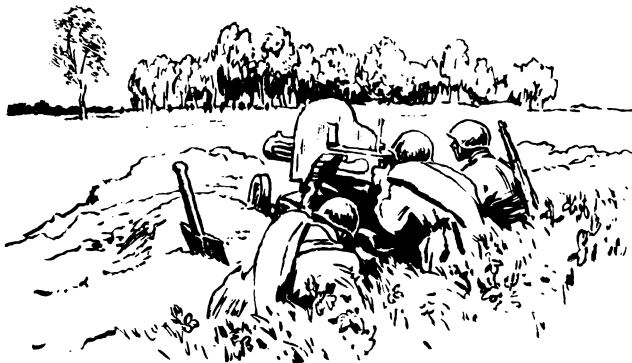
Майор отдал фотографию и не сказал ни слова в напутствие.

Жарков бережно завернул фотографию в обрывок газеты, спрятал в карман гимнастерки, отковырял и вышел из блиндажа.

Блиндаж приютился на лесной опушке, к которой вплотную подступало безбрежное ржаное поле. Тут и там чернели воронки, а рожь вокруг них полегла от взрывной волны.

1941





## РЕКОМЕНДАЦИЯ

Сумерки успели перекрасить дальний сосновый бор в лиловый цвет, трава стала серой, щиток пулемета — черным, а на предвечернем небе обозначилась луна.

Пулеметчик Лоскутов сидел на бруствере окопа. Он неторопливо достал кисет, скрутил сигарку, сделал несколько затяжек и повел рассказ дальше:

— Мартынов — это такой человек, что если о нем подробно напечатать в газете, то одной страницы никак не хватит, а скорей всего придется уделить ему две страницы, а то и всю газету. В мирное время Мартынов Иван Климентьевич работал где-то по театральной части — освещал спектакли цветными лампами. Рассвет на сцене показать или заход солнца — это была его обязанность. И хотя Мартынов человек театральный, но пулеметчик из него получился стоящий. А если кто в этом сомневался, то лишь до тех боев, которые наш расчет принял у рощи «Огурец» и еще у рощи «Подкова». Иван Климентьевич с вечера перебрал весь пулемет, смазал, зарядил, он пулемет наш «Максим Максимычем» звал. Приготовили запасные позиции как полагается. Поселились на высоте — клевер, волшебный запах от него. Фашисты крестили из всех родов оружия. Но ночь — августовская, черная, и били они больше

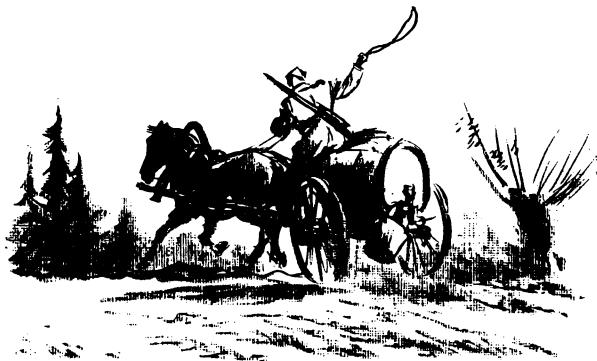
для психологии. Лежит Мартынов в окопе, на звезды смотрит и медленно так говорит: «Со мной парторг роты вчера беседовал. Заявление я уже написал... В кармане держу». — «Поздравляю, Иван Климентьевич, сердечным образом,— говорю. — Давно тебя наставлял». Тогда Мартынов и говорит: «А мог бы ты мне, Лоскутов, например, рекомендацию дать?» — «Какой же вопрос, — говорю. — Давно предлагал. Разве мы не за одним щитком лежим? Разве нам обоим не свистят одни и те же пули? Не воюем вместе согласно приказу?» Мартынов приподнялся на локте, повернулся ко мне и со значением говорит: «Вот и я хочу, чтобы мне приказы давали по всем статьям: от командования и по партийной линии...» Спали мы в очередь. Когда развиднелось, я достал карандаш, бумагу и написал Мартынову рекомендацию. Но передать ту рекомендацию мне не пришлось, потому что бой взялся сразу, — небу стало жарко и нам горячо. Мартынов наводил, я — на своей должности, вторым номером. Подносчиком хлопотал Микола Ковш. Фашисты накапливались в роще «Подкова» для контратаки, но Иван Климентьевич никак не позволял им подняться с травы. Ведь это не только пулеметчик, а, можно сказать, заслуженный артист. Слева росло горбатое деревцо, ориентир четыре. Возьмет Мартынов это деревцо на мушку, откроет огонь и плавно так, без рывков, не нажимая на ручку затыльника, поведет вправо. Рассеиванье давал во всю ширину рощи — фашистам было на что обижаться: валились, как трава под острой косой, и земля на том лугу намочла от крови. Эх, не видели вы мартыновской работы, — печально сказал Лоскутов, соболезнуя мне, как человеку, который пропустил в своей жизни что-то очень важное и который уже никогда не наверстает упущенного...

— Окопались мы, как полагается, надежно. Иван Климентьевич, помню, наш окоп называл суфлерской будкой. Ствол у «Максим Максимыча» раскалился, теплый воздух от него легким облачком подымается. Мартынов достал флягу с питьевой водой, отхлебнул глоток, дал пригубить нам обоим, а все остальное вылил в кожух. Осторожно лил, капли мимо отверстия не пронес. Но вот когда уже стал заворачивать пробку наливного отверстия, ударила Ивана Климентьевича пуля. Прижал он руку к груди — будто что-то рассказывал, ему не поверили, а он божиться стал. Постоял так на коленях и упал. Я занял место Мартынова, а Ковшу — он парень рослый, ковалем работал на Украине — приказал оттащить первого номера поближе к санитарам. Перевязал его Ковш, осторожно положил себе на плечи и собрался ползком в дорогу. Мартынов открывает глаза. Слышит — пулемет бьет, а меня не видит, повернуться ему никак нельзя. «Наш?» — спрашивает. Ковш кивнул. «А лент набитых сколько в коробке?» — спрашивает. «Одна только». — «Что же ты раньше времени в санитары записался?» — медленно так спрашивает и руку к груди прижимает. «От другого номера приказ вышел», — оправдывается Ковш и боится: а вдруг Мартынов

подумает, что он по своей воле пулемет оставил? Что под предлогом эвакуации командира хочет податься с высоты в тыл? «Эвакуацию отставить, — тихо говорит Мартынов. — Приказа отходить не было. Набить ленты». — «Слухаю», — говорит Ковш и чуть не плачет. «Будем биться до последнего патрона, — говорит Мартынов. — Как подобает нам, партийным людям...» И закрыл глаза... Когда очередь кончалась, мне слышно было, как Иван Климентьевич бредил. Что-то говорил про сцену, кричал: «Давай занавес!» Потом подавал команду: «По роще — огонь!» — и опять на красный свет жаловался. Ковш набил новую ленту, растянул ее после снаряжения, чтобы не перекашивалась, уложил в коробке как полагается, «гармошкой», и «Максим Максимыч» снова запел свою строгую песню... — Лоскутов сделал последнюю затяжку, обжигая пальцы, губы, и вдавил окуроч в окопную глину. Он помолчал как бы собираясь с силами, и продолжал: — Но Иван Климентьевич той песни уже не слышал... Похоронили его с почестями, как фронтовика и героя, на той самой неприступной высоте, а парторг сказал речь о непартийном большевике Мартынове. Хотел и я сказать речь, но тут у меня получилась осечка. Будто все слова перекошились и застряли в горле. Дыхания совсем не стало, и слезы, слезы потекли из глаз, хотя раньше я слез за собой не замечал. И, поняв, что речи у меня не получится, а слов моих ждут, я достал рекомендацию Ивану Климентьевичу Мартынову для вступления в кандидаты ВКП(б). Прочел я над могилой свою рекомендацию, вложил ее Мартынову в левый карман гимнастерки, где все мы партбилеты носим, и поцеловал товарища. А от себя сказать так ничего и не смог — сердце не позволило...

1942





## ВОДОВОЗ

Первое письмо от Григория Ивановича Каширина пришло в полк спустя месяц после его ранения.

Товарищ майор, — писал Каширин. — В первых строках моего письма докладываю Вам обстановку. Обстановка в палате благоприятная. Маскировка в белый цвет полная, имеются даже занавески.

Заканчивалось письмо обещанием быстро поправиться и вернуться в полк.

Прочитав письмо, майор Жерновой недоверчиво покачал головой. Он вспомнил, как Каширин с землистым лицом и серыми, почти черными губами лежал на носилках: он был тяжело ранен в бедро и голень. Раненые, даже безнадежные, когда пишут из госпиталя, часто обещают быстро поправиться. Если им верить, они и в госпиталь-то попали по недоразумению.

От Каширина долго не было ни слуху, ни духу, как вдруг он предстал перед майором собственной персоной.

— Сержант Каширин из госпиталя прибыл! — лихо отрапортовал он.

— Ну-ка, покажись, Григорий Иванович. Как там тебя залатали?

Майор шагнул навстречу Каширину, они обнялись. Оба воевали вместе

еще у Соловьевой переправы, и каждый ранен в полку четыре раза.

Григорий Иванович за эти месяцы изменился мало, разве что похудел и от этого казался более долговязым, а шея — более длинной. Плечи были столь покатыми, что сержантские погоны Каширина хорошо видны и сбоку. Шинель, изжеванная и мятая, была непомерно широка, и казалось, надета на голое тело. Широкий воротник еще больше подчеркивал худобу шеи.

Майор, обрадованный возвращением Каширина, шутил, смеялся и уже несколько раз спрашивал:

— И как ты полк нашел? Тысячу верст от речки Лучесы отмахали — это не фунт изюму!..

Григорий Иванович сидел напротив майора, насупившись, и молчал, будто был виноват, что его ранили за несколько дней до наступления на злополучной высоте 208,8 под Витебском, а полк без него прошел с боями к Восточной Пруссии.

— Ну, теперь признавайся: сбежал из госпиталя? Как в прошлый раз?

— Нет, товарищ майор, — вздохнул Каширин. — На этот раз полный срок отбыл.

— Так в чем же дело?

— Меня комиссия по чистой уволила. — Каширин потупился. — Совсем с действительной службы. Поскольку левая нога у меня того...

— Хромаешь?

— Немножко есть.

— Да... — невесело сказал майор и принялся вертеть в руках карандаш.

— Вот, хочу здесь обжаловать эту комиссию. Мало ли что нога! Где-нибудь в тылах пристроюсь. А из полка мне дороги нет, сами знаете.

Майор тоже помрачнел. Жалко терять такого снайпера, жалко и самого Каширина. Но, с другой стороны, куда девать инвалида? Майор в раздумье поднял глаза на Каширина и внимательно оглядел его.

— Ну и шинель на тебе! Прямо пугало. И где их только находят в госпиталях, эдакие шинели... Вот тебе записка на вещевой склад. Переоденешься — там видно будет.

Григорий Иванович поднялся и, слегка прихрамывая, направился к выходу.

— Хотя постой! — крикнул майор и от возбуждения даже встал. — Вот что! Оставайся-ка ты там, Григорий Иванович, кладовщиком. Принимай склад. Лизунков — парень молодой, здоровый, и негоже ему там войну коротать.

Каширин был от такого предложения на седьмом небе, но майора не поблагодарил и восторга не выразил.

Через неделю он совсем освоился с новой работой — переругивался со старшинами, отпуская новенькое обмундирование, принимал рубахи, портянки и шинели, отслужившие свой срок.

Дыхание переднего края, проходившего в те дни по самому краю

советской земли, вдоль прусской границы, доносилось и сюда, в тихий вещевой склад, пропахший затхлой ветошью. Старая одежда пахла порохом, оружейным маслом и потом войны, на ней виднелись бурые пятна крови.

Григорий Иванович научился многое узнавать о владельцах старой одежды.

Блестящее, отполированное пятно у правого плеча на гимнастерке — след приклада автомата или винтовки. У разведчиков обмундирование больше, чем у других, продрано на локтях и на коленях. У саперов всегда изорваны в клочья рукава и полы шинели или рубаш — острые следы колющей проволоки. Гимнастерка, замасленная на груди до черного блеска, будто ее смазали гуталином, принадлежит подносчику, ящичному. Много тысяч снарядов поднес он к орудию и каждый снаряд прижимал к груди бережно, как младенца.

Чем острее слышны были в складе запахи боев, тем больше тяготился своей работой Каширин.

Он стал подолгу пропадать в оружейной мастерской, расположенной по соседству со складом, а увидав там однажды новенькие самозарядные винтовки, принялся кланяться такую винтовку у оружейного мастера Лапшина.

— Ну зачем тебе такая винтовка? — допытывался Лапшин. — Мышей, что ли, по ночам в складе пугать?

— Мыши сюда, Филипп Филиппович, не касаются. А склад охранять — дело серьезное. И винтовка тут, Филипп Филиппович, требуется первый сорт. Поскольку нахожусь я на действительной службе...

— Новости! — рассердился Лапшин. — Нужна тебе такая винтовка, как танкисту шпоры!..

Каширин был обижен разговором насчет мышей и шпор, но виду не подал. Он терпеливо сносил все насмешки, старался быть как можно почтительнее, называл Лапшина не иначе как по имени-отчеству.

Каширин добился все-таки своего: получил самозарядную винтовку отличного боя. Дело тут было не только в его назойливости. Филипп Филиппович, как и все оружейники, благосклонно и даже ласково отнеслся к снайперам.

Каширин никому не доверил новенькой винтовки, сам выверил и пристрелял ее. Он так долго с ней возился, что надоел всем в мастерской. Филипп Филиппович даже прикрикнул на него и велел убираться.

— Подумаешь, командующий нашелся! — огрызнулся Каширин.

Винтовка была при нем, от прежней почтительности не осталось и следа.

Назавтра Каширин отправился к майору Жерновому:

— Товарищ майор, докладываю обстановку. На складе все в порядке. Шаровары и рукавицы получены. Разведчикам выданы сапоги согласно приказу... — Каширин помялся, потом сказал: — А мне разрешите ключи сдать. Хочу со склада податься.

— Чем же там плохо?

— Лучше водовозом на кухню. По крайней мере, почетное занятие. И Брагинец приглашает, надеется на меня.

— Чудак ты, Каширин! Ну чем тебе плохо на складе? Тихо. Не дует. Не каплет над тобой. Пешком ходить много не приходится. Я тебя нарочно послал туда, на спокойную жизнь.

— Хороша спокойная жизнь! То с одним старшиной поругаешься, то с другим. Вчера тыловой крысой обозвали, сегодня — интендантской душой. А мне в интенданты записываться никак нельзя. Сами знаете, товарищ майор.

— Ну что же, сдавай склад старшине! — сказал Жерновой устало и зло. — С твоим характером там не усидеть. У тебя у одного упрямства на целую роту хватит.

Каширин видел, что майор им недоволен, но старался об этом не думать. Важно, что разрешение получено и можно распрощаться с постылым складом.

Повар Брагинец и в самом деле усиленно тянул Каширина к себе в помощники — дружба у них была старая.

— Пешего хождения или тем более беготни у водовоза нету, — уговаривал Брагинец. — Вприсядку пускаться вокруг котла тоже не нужно. Так что нога тормозить не будет.

Брагинец лыстило, что в помощниках у него будет состоять человек, знаменитый в полку. Кроме того, повару надоело возиться с водовозом Батраковым: тот всегда носил в кармане три индивидуальных пакета, а когда уезжал по воду, бледнел от страха.

Колодец в деревне Станишки был забит, оттуда несло трупной вонью. Севернее деревни, за опушкой леса, протекал ручеек, но вода в нем была не питьевая — с какой-то противной горечью и запахом гнили. Оставался родник вблизи берега Шешупы, на переднем крае, в расположении шестой роты.

Родник бил у восточного подножия холма, но дорога туда просматривалась, и иной раз фашисты стреляли по водовозу из минометов. Трусоватый Батраков ездил той дорогой только ночью, а днем приставал ко всем с просьбой экономить воду.

Каширин успевал сделать за ночь несколько рейсов к роднику, но перед рассветом обычно собирался туда еще раз.

— Слезай с бочки, Григорий Иванович, — сказал однажды Брагинец. — Хватит на сегодня, слезай. У меня еще со вчерашнего дня полный бак.

Каширин подобрал веревочные вожжи, но остался сидеть на облучке и сказал сердито:

— Куда ее такую, вчерашнюю? Разве на стирку? Лучше я тебе свежей воды привезу, про запас.

— А обратно? Рассвет теперь торопливый.

— Пусть! — сказал Каширин и при этом лукаво подмигнул, хотя



Брагинец в полутьме не мог ничего увидеть. — Не много фрицы против солнышка заметят. В это время их наблюдатели — как слепые котята. Дорога-то моя оттуда — прямо на восток!

Брагинец недоверчиво покачал головой, но спорить не стал: упрямство Каширина было всем известно.

Новый водовоз отрыл для бочки окоп на восточном склоне холма. Он подъезжал к роднику, набирал воду, потом заводил свою кобылу Осечку в укрытие, как в стойло, а сам лез наверх в траншею к стрелкам.

Траншея тянулась крутой дугой чуть пониже гребня холма. Каширин, приняв по возможности бравый вид и стараясь не прихрамывать, то-ропливо проходил в северный конец траншеи.

— Григорию Ивановичу — наше нижайшее! — неизменно приветствовал его старый знакомый, взводный Жарков. — Какие новости? Чего там сообщает агентство Рейтер?

— Да так, сообщает разные сообщения.

— Может, мы какое-нибудь опровержение послали? Дескать, в осведомленных кругах сообщают и так далее...

— Что-то не слышал.

— Может, опять какому-нибудь господину послу ноту вручили? Дескать, примите уверения и так далее...

— Что-то не помню.

— Ты за этим делом следи! Теперь ты у нас наподобие «Последних известий». А то сюда в траншею радио не доходит.

Взводный Жарков был страшно болтлив, любил почесать язык даже в бою, а после того как добрался со своим взводом до границ Восточной Пруссии, особенно охотно беседовал о международном положении.

При других обстоятельствах Каширин даже не стал бы ему отвечать. Но взводный каждое утро выделял ему наблюдателя, и поневоле приходилось вежливо поддерживать разговор.

Каширин устраивался в траншее так, чтобы солнце вставало прямо за его спиной. Фашисты в час восхода сменяли караулы и завтракали. Они снова по ходу сообщения пригнувшись, но нередко то тут, то там показывалась на мгновение голова в пилотке чужого покроя.

«Уже по своей земле бегают пригнувшись!» — подумал Каширин с веселым злорадством.

Он долго наблюдал за небольшой копной соломы на том берегу Шешупы, левее пограничного столба. Ну какой крестьянин оставит копенку, когда рядом высится большая копна? Два дня Каширин присматривался, а на третье утро решил действовать.

Первой зажигательной пулей он поджег солому.

«Подходяще горит немецкая солома!» — подумал Каширин. Второй пулей подстрелил снайпера, который прятался в соломе и выскочил из горящей копны.

Редко в какое солнечное утро Каширин уходил из траншеи без добычи.

Он успевал проскочить со своей бочкой обратно, пока солнце стояло невысоко над горизонтом и прятало водовоза в косых спящих лучах.

Каширин приезжал на кухню, распрягал Осечку и тотчас же начинал разбирать и чистить винтовку.

За этим занятием и застал его майор Жерновой.

— Ну и плут же ты, Каширин! — сказала майор, стараясь казаться сердитым. — Просился в водовозы, а ходишь в снайперах?

Григорий Иванович вскочил, вытянулся, шея его сразу стала еще более длинной, а воротник более широким и принялся молча вытирать ветошью руки, все в оружейном масле.

— Восемнадцать фрицев за месяц — это не фунт изюму!.. Ты, Григорий Иванович, прямо как старый боевой конь.

— Был конь, да изъездился, — мрачно заметил Каширин. — Теперь бочку возит туда-обратно.

— Опять недоволен.

— Что же хорошего — в кухонном звании ходить? Водовоз — самое последнее занятие...

Брагинец, стоявший рядом, слышал весь разговор. Он укоризненно покачал головой. Каширина это не остановило.

— А мне, товарищ майор, сами знаете, оставаться во втором эшелоне невозможно. Поскольку я на действительной службе...

Майор рассмеялся, не сказал ни да, ни нет и пошел прочь. Каширин заторопился за ним вдогонку. Он хотел «доложить боевую обстановку», то есть попроситься в снайперы и завести речь о винтовке с оптическим прицелом.

Каширин шагал довольно быстро и не припадал, как прежде, на левую ногу. Может быть, он умело скрывал хромоту, а может, и в самом деле поправился.





## ТРИНАДЦАТЫЙ ЛЫЖНИК

У колодца и дальше, у избы с высоким крыльцом, уже дважды сменились немецкие патрули, а Харламов все еще лежал в своей белой берлоге. Справа его укрывал плетень, слева — высокий сугроб.

Харламов зарылся в снег на огороде, за одним из крайних домов деревни. Изредка, когда колени, локти и живот начинали коченеть, он осторожно, боясь загромоздить оружием, поворачивался на бок. И снова томительные минуты ожидания. Какими длинными они кажутся человеку, который не ел двое суток и промерз до мозга костей!

У разведчика-наблюдателя отличное зрение, и сержант Петр Харламов за сутки пребывания в деревне приметил многое. В колхозных яслях — штаб. В амбаре напротив — склад боеприпасов. У околицы, в доме с каменным фундаментом, — пулеметное гнездо, левее — окопы.

«Эх, наводчикам бы нашим да эти адреса!» — подумал он.

Разведчик при возвращении из поиска должен быть осторожен вдвойне: он рискует и жизнью и добытыми сведениями. Вот почему Харламов терпеливо ждал наступления темноты, когда можно будет подняться, отрыть из-под снега лыжи и двинуться в обратный путь.

Для этого нужно прежде всего пройти незамеченным через деревню, добраться до ближнего леса и двинуться по руслу Ламы, сжатой крутыми берегами.

Смеркалось. Снег окрасился в пепельно-голубой цвет и быстро темнел.

Внезапно Харламов увидел, что по деревенской улице, в каких-нибудь тридцати шагах от него, скользит лыжник в халате. Белый капюшон закрывал шапку, лоб, подбородок, оставляя морозному ветру только узкую полоску лица. В уверенных и легких движениях лыжника не чувствовалось усталости.

«Значит, — решил Харламов, — только собрался в дорогу. Должно быть, разведка».

Вслед за первым лыжником, метрах в пяти позади, слегка пристукивая лыжами по насту, шел второй, за ним третий, четвертый...

Девять, десять, одиннадцать... Вот промелькнула согнутая под тяжестью какого-то ящика фигура двенадцатого.

Харламов подождал еще немного — никого. Очевидно, двенадцатый лыжник был замыкающим.

«А почему бы мне не стать тринадцатым? — внезапно подумал он.— И автомат у меня трофейный...»

Не поднимаясь, он разгреб снег, надел лыжи, продел руки в кожаные петли палок и только после этого поднялся на ноги. Энергичный толчок, другой — и Харламов заскользил по деревенской улице. Он легко мог сойти за немца, несколько отставшего от своих.

Тотчас же Харламов встретился лицом к лицу с солдатом, который нес охапку дров. Затем повстречались еще два, шедшие, очевидно, после смены караула. Они пританцовывали на ходу, стараясь согреться.

Не отводя глаз, не смутившись, Харламов разминулс с офицером так близко, что едва не задел его плечом. Небритое лицо, черные наушники, бархатный воротник офицерской шинели.

Харламов шел, копируя размашистый шаг лыжников, идущих впереди. Его отделяло от последнего лыжника не больше сорока — пятидесяти метров. Когда немцы вышли за околицу и отряд растаял в длинной цепочкой, Харламов отстал еще больше. Он шел на такой дистанции, чтобы двенадцатый лыжник, обернувшись, не смог увидеть его лица. А кому придет в голову пересчитывать на ходу, сколько человек движется гуськом друг за другом?

Несколько раз фашисты останавливались на отдых; они курили, пили из фляг. Тринадцатый лыжник быстро высвобождал ноги из креплений и плашмя падал в снег, уже перекрашенный сумерками в темно-синий цвет. Он рад был этим привалам. Сказывались голод и усталость. Ему трудно тянуться за отрядом.

Отряд вошел в перелесок, где темнота была еще плотнее, и остановился. Харламов наблюдал, притаившись за елью. Фашисты установили на треноге какой-то прибор. Когда наши орудия за Волоколамским

шоссе подавали голоса, фашисты начинали суетиться у прибора. Очень скоро Харламов признал в них «слухачей». Немцы-звукометристы засекали наши батареи, и Харламов был в отчаянии, что не может сейчас же сообщить об этом в свой дивизион.

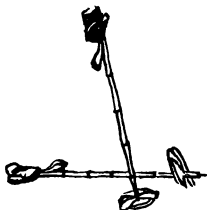
Под прикрытием елочек он пошел к чаще леса. Было уже совсем темно, когда сержант вскарабкался на крутой заснеженный берег Ламы и добрался до знакомых мест.

Шел медленно, с трудом волоча ноги. Лыжные палки отяжелели в руках, словно они были вырезаны не из бамбука, а из водопроводных труб. Тяжело прополз через знакомую лазейку в проволочном заграждении. Стал на колени, сложил руки рупором, закричал хриплым, простуженным голосом, и его услышали.

Он еле держался на ногах, и друзья повели его под руки, как раненого. От предложения отогреться и отдохнуть в землянке боевого охранения сержант Харламов отказался наотрез.

— Нужно бежать на батарею. Есть срочный разговор с командиром, — сказал он озабоченно и потянулся к лыжным палкам.

1942





## ОБРЫВОК ПРОВОДА

Трудно вспомнить, сколько раз в тот день Устюшину пришлось отправляться на линию и сращивать провод. То провод перебьет осколком мины, то оборвет взрывной волной, то его перережут немецкие автоматчики, которые уже несколько раз просачивались в ближний лес. Смеркалось, когда батарея вновь потеряла связь с наблюдательным пунктом майора Балояна.

Устюшин нажимал на клапан, кричал, надрываясь, изо всех сил дул на заиндевшую мембрану. Телефонная трубка была нема. «Днепр» не отвечал на тревожные вызовы «Алтая».

— Пропал «Днепр». Как воды в рот набрал, — сказал Устюшин голосом, охрипшим от крика и безнадежности. — Без вести пропал «Днепр»...

Онемела трубка в его руке — онемееет «Алтай», онемееет вся батарея.

Устюшин молча передал трубку помощнику, выполз из блиндажа, осмотрелся. Он хотел было переждать, пока утихнет обстрел, но обстрел не утихал. Теперь, когда он оказался под открытым небом, их

блиндаж в два наката жидких бревен — при каждом разрыве сквозь щели осыпался песок — показался ему могучей крепостью.

Устюшин глубже нахлобучил ушанку, натянул на руки теплые варежки, словно тем самым он лучше защитился от опасности, и побежал вдоль провода, проваливаясь в снег по колено, по пояс.

Эх, жаль, старшина не успел выдать связистам валенок, приходится нырять по сугробам в сапогах!

Провод тянулся от шеста к шесту, затем связывал елочки на опушке, затем снова начиналась шестовка. Провод походил на толстый белый канат: сухой пушистый снег осел на нем.

Устюшин бежал, а мины по-прежнему рвались. Воздух шатался от близких разрывов. Снег белыми дымками, облачками падал с елей, обнажал хвою. С посвистом летели осколки. Пахло горелой землей. На снегу чернели круглые выбоины.

Устюшин пробежал не меньше двух катушек провода, прежде чем обнаружил место обрыва. Вот он, конец провода, безжизненно повисший на молоденькой елке. А где другой конец? Он лежал где-то на земле не видимый, его уже присыпало свежим снежком, и не сразу удалось разыскать.

Сейчас Устюшин «сведет концы с концами» и побежит обратно в спасительный блиндаж, подальше от осколков.

Однако вот неприятность — больше метра провода вырвало миной и отшвырнуло куда-то в сторону. Соединить концы провода никак не удавалось. Не хватало этого злополучного метрового обрывка! А запасной катушки у Устюшина с собой не было. Как же быть? Батарея-то ждет! И «Днепр» ждет!

Устюшин знал, что сегодня в любую минуту может прозвучать по телефону сигнал «444», секретный сигнал к наступлению, и горе горькое, если их «Алтай» не отзовется на гортанный голос майора Валояна Нерсеса Порфирьевича: «Алтай» узнавал командира полка по акценту.

Устюшин снял варежки, взял в правую руку один конец провода, левой рукой дотянулся до провода, который теперь валялся на снегу. Концы были оголены от изоляции и кусались на морозе.

Человеческое тело, как известно, проводник электрического тока. А сухой снег, на котором стоял Устюшин в сапогах, служил изоляцией. Вот и включился в линию.

Как удачно, что у них на батарее нерасторопный и прижимистый старшина — не успел обуть связистов в валенки; как хорошо, что подметки у него резиновые!

Он стоял, широко раскинув руки. Стоял, потому что прилечь или хотя бы присесть на снег нельзя: провода не хватало; как бы не заземлить всю линию...

Конечно, можно поднатужиться и еще сильнее потянуть концы про-

вода на себя. Но тянуть изо всех сил Устюшин боялся — еще оборвется.

И до поздней ночи, пока не отгремел бой, во весь рост стоял Устюшин на опушке леса, среди молоденьких елок, посеченных осколками; немало свежих хвойных веток и веточек легло на снег.

Когда слышался зловеще нарастающий звук мины, Устюшина охватывало жгучее желание бросить концы натянутого провода и припасть к земле, уткнуться лицом в сухой снег, вдавиться в него как можно глубже.

Но всякий раз он унимал дрожь в коленях, выпрямлялся и оставался на месте.

В правой руке, окоченевшей от холода и усталости, Устюшин держал «Днепр», в левой — «Алтай».

Теплые варежки лежали на снегу, у его ног.

1941







## ЭТОГО НЕТ В ПОВАРЕННОЙ КНИГЕ

Может быть, Григорий Архипович Глухарев немногословен от рождения. Но, скорее всего, здесь сказались четыре зимовки на Крайнем Севере. Глухарев работал поваром полярной станции, затерянной в белом безмолвии Арктики.

Помимо молчаливости, присущей всем полярникам, он привез отсюда хорошую привычку рассчитывать во всем только на свои силы.

Эта привычка оказалась как нельзя более полезной на войне, потому что в поваренной книге нельзя найти рецепта, как доставить кашу на передовую, когда немцы простреливают каждый метр дороги, а таких метров сотни и, по выражению Глухарева, «огонь такой, что воздуха совсем не видно».

В помощниках у него хлопотал Николай Бондарин, разбитной и шумливый парень. Он появился на кухне, когда батальон стоял в обороне.

В те дни можно было пройти с термосом по траншее чуть ли не до боевого охранения, туда, где большак повертывал к югу и где одиноко маячил на бугре расщепленный телеграфный столб.

Жизнь шла тихо, без особых происшествий, и, может быть, поэтому Бондарин явно тяготился своей кухонной должностью.

— Да меня, Григорий Архипович, судомойки в Гранд-отеле засмеют, если узнают, что я с половником в руках воюю.

Бондарин сделал паузу, ожидая возражений, но Глухарев промолчал.

— Ты, Григорий Архипович, не обижайся, — сказал Бондарин решительно. — Все равно на передовую уйду.

— Кухня — тоже огневая точка... — несмело возразил Глухарев.

— Рассказывай! — запальчиво перебил Бондарин. — Приделай к своему половнику оптический прицел и запишись в снайперы. Сразу все немцы разбегутся!..

Глухарев тяжело вздохнул и, по обыкновению, промолчал. Ему не хотелось ввязываться в спор со своим горластым помощником.

До войны Бондарин работал в первоклассных ресторанах Москвы, готовил изысканные блюда и любил оглушать Глухарева названием деликатесов.

— Котлеты «деволяй» готовятся на два вкуса, — поучал Бондарин. — Есть котлеты «деволяй» по-киевски и котлеты «деволяй жардиньер».

— Высокие блюда, — соглашался Глухарев или почтительно молчал, потому что не был искушен в ресторанных тонкостях и признавал тут превосходство помощника.

Чем Глухарев, в свою очередь, мог удивить Бондарина? Разве что рецептом жаркого из мяса белого медведя.

Мясо имеет неприятный привкус и запах ворвани, которые дает главным образом жир, и поэтому полярники едят медвежатину, очистив ее от жира...

Кухня стояла летом близко от передовой, в овраге, поросшем кустарником. Топку Глухарев упрямо не гасил, не желая запаздывать с обедом. Когда немцы по дымку начинали обстреливать кухню, Глухарев переезжал на другое место.

Но Бондарина эти маленькие приключения интересовали мало, и дело кончилось тем, что он упросил комбата отпустить его к пулеметчикам, на передовую. Помощником повара назначили ездового Шарипова.

Глухарев по-прежнему кормил солдат сытно и вкусно. Автоматчики подарили ему зимний маскировочный халат.

— Чистота — залог здоровья, — сказал командир взвода Огурцов, преподнося повару белый халат. — Маскируйся на здоровье у своей огневой точки.

Глухарев тут же надел халат, поднял капюшон и завязал его на затылке шнурком, так что капюшон стал походить одновременно и на чалму и на бабий платок.

— В таком халате хорошо на белого медведя ходить, — сказал довольный Григорий Архипович. — Для незаметности в снегу...

Пока батальон находился в обороне, Бондарин ежедневно являлся в обед к Глухареву. Тот молча нагружал котелок, а Бондарин, чувствуя себя виноватым, бывал словоохотлив, даже болтлив. Он всегда старался сказать что-нибудь приятное — то ли насчет хорошо разваренной каши, то ли по поводу котла, начищенного до блеска.

А потом батальон снялся из обжитой рощицы, и пулеметчики все время двигались впереди. Бывало, солдаты сидели день-деньской на сухом пайке, но чаще всего Глухарев добирался с кухней до передовых рот. Обед варился на ходу и иногда поспевал к полночи, а ужин — к рассвету.

— Наш Глухарев воюет по всей форме, — подшучивал Огурцов. — Можно сказать, сопровождает пехоту борщом и колесами. Согласно уставу...

Как-то подносчик патронов, новичок чьей фамилии никто не знал, принялся в ожидании обеда ругать повара.

— Наверно, спит во все лопатки, — сказал новичок злобно. — Аж глаза вспухли...

Он думал найти поддержку у расчета, но наводчик Никишин его одернул:

— Не в ресторане! В окопе сидишь. Понятно? Может, тебе ещё блюдце выдать?.. Нашего повара, если хочешь знать, сам полковник вчера медалью наградил. Понятно?

Новичок, белобрысый парень, с ушами, оттопыренными так сильно, словно именно на них держалась каска, виновато заморгал, умолк и начал перематывать съехавшую обмотку.

Батальон в тот день вел бой за «фигурную» рощу. Она отчетливо виднелась впереди, прямо на западе, так что закатное солнце освещало из-за рощи шаткие верхушки осин.

Пулеметчики окопались на поляне, поросшей высокой жесткой травой. Немцы вели ожесточенный огонь из минометов — видимо, готовились к контратаке.

В эту минуту солдаты увидели, что по поляне к ним ползут два человека. Коричневые фонтаны земли возникали то впереди, заслоняя ползущих, то рядом. На некоторое время люди исчезли из виду — очевидно, отдыхали в воронке, — затем снова принимались ползти след в след, один в затылок другому.

Прошло еще несколько длинных минут, и тогда стало ясно, что ползут не двое, а один человек и к его ноге привязан термос — сытный обед взвода.

— Глухарев! — вскрикнул Бондарин. Он первый опознал повара.

«Человек ползет под огнем, а я сижу здесь, — пристыдил себя Бондарин. — Зарылся в землю, как крот. Жду, пока меня накормят обедом...»

Глухарев опять исчез в рослой траве и на этот раз долго не появлялся. Бондарин сильно встревожился. Он зло посмотрел на подносчика патронов, который днем ругал повара.

Человек с термосом снова показался в траве, но теперь он полз очень медленно, с трудом тащил за собой термос, словно посудина эта невероятно потяжелела.

Бондарин пополз навстречу Глухареву, добрался до него, оттащил в воронку, сделал перевязку. Тот был ранен в ногу выше колена.

Потом Бондарин распечатал еще один индивидуальный пакет и туго свернутой марлей заткнул две пробоины в термосе. Осколки пробili луженую стенку и попали в борщ.

Пока Бондарин делал перевязку, Глухарев молчал, потом сказал с беспокойством и горечью:

— Придется тут переждать, а потом податься в тыл. Только едоки у меня остались во второй роте. Да и ваши натошак...

— А это ты, Григорий Архипович, не сомневайся, — заверил Бондарин. — Едоков мы возьмем на довольствие.

Через четверть часа Бондарин сидел в окопе и разливал борщ по котелкам. Он предупреждал всех и каждого:

— Питайся осторожнее. Сегодня борщ с немецкой приправой. В гуще осколки залежались. Не вздумай проглотить. Это тебе не груши дюшес в сиропе...

Бондарин сам вызвался занять место Глухарева до возвращения того из госпиталя и надел маскировочный халат, подаренный Огурцовым. Подобно Глухареву, черпак он стал называть «разводящим», а кухню — «огневой точкой».

В батальоне довольны поваром, и дела идут на кухне хорошо, но у Бондарина есть одна странность — простые солдатские блюда он любит называть замысловато и изысканно.

На днях мясо с кашей Бондарин по-чудному назвал «эскалоп с гарниром», а вчера суп из манной крупы переименовал в бульон.

— Это еще что за бульон? — спросил наводчик Никишин недоверчиво, протягивая котелок.

— Бульон пейзаж, — с достоинством ответил Бондарин. — Сухари пойдут вместо гренков.

— Бульон! Наверно, курица мимо котла прошла, — мрачно заметил стоящий сзади подносчик патронов, паренек с оттопыренными ушами и обмотками, которые вечно разматывались.

Бондарин уничтожающе посмотрел на него, и этот взгляд был тем красноречивее, что повар стоял на ступеньке кухни и смотрел сверху вниз.

Подносчик патронов, чьей фамилии по-прежнему никто не знал, первый отхлебнул бондаринского бульона. Он аппетитно причмокнул губами и, довольный пробой, деловито пододвинул котелок поближе. Дело, в конечном счете, не в названии, если суп наваристый, ароматный и на его поверхности плавают золотые кружочки жира.

1943





## ЕЩЕ ОДИН СЮРПРИЗ

Батальон ворвался в Черемшанку, когда пасмурный июньский день был на ущербе. Роты прошли вперед, и в деревне остались только саперы.

Тишина встретила их.

Петухи не поют. Бабы на речке не полощут белья. Из холодных печных труб не поднимаются пахучие дымки. Дома стоят без стекол, в них вечный сквозняк.

И только в доме с резными ставнями и нарядным крыльцом чудом сохранились оконные стекла. Дом подозрительно целехонек.

У саперов не принято входить в незнакомый дом через двери. Фашисты любят устанавливать мины на пороге. Человек взбежит по ступенькам крыльца, потянет дверь на себя — и конец.

Когда есть подозрение, что дом минирован, сапер привязывает за ручку двери бечевку и дергает ее издали. Иногда при этом следует взрыв. Для того чтобы дом остался в живых, лучше всего проникнуть в него через окно.

Мохов приказывает низенькому веснушчатому бойцу в непомерно большой каске:

— А ну-ка, Хлястик, отпри окошко прикладом. Или, в крайнем случае, плечом потревожь.

В мирное время Петр Хлестов, он же Хлястик, работал стекольщиком. И до сих пор он зачем-то таскает с собой в кармане алмаз для резки стекла.

Хлястик виновато моргает, переминается с ноги на ногу. Он поправляет каску. Чтобы она не налезала на глаза, Хлястик носит ее, сдвинув на затылок.

— Уж вы лучше сами, товарищ сержант, в окошко постучитесь, — говорит он просительным тоном. — Не поднимается у меня рука против стекла. Хрупкое вещество. Вот если бы застеклить...

— Эх ты, хрупкое вещество! — посмеивается Мохов.

Он навьючивает на Хлястика свою амуницию и подходит к окну.

Мохов вышиб окно, перемахнул через подоконник, осторожно ступил на половицы и присмотрелся, не отдирали ли их кто-нибудь, не прогибаются ли они, не соединены ли в подполье с капсюлем мины.

Мохов приблизился к двери и увидел черный шнурок, привязанный к дверной щеколде.

«На мякину ловят», — сказал он про себя и усмехнулся.

Мохов не стал резать шнурка, а проследил, куда он протянут. Оказалось, в низ печки, туда, где обычно хозяйки держат ухваты.

Как все саперы, Мохов носит на поясе гвоздь, привязанный на цепочке вроде брелока. Гвоздь вставляется на место чеки, которую минер выдергивает, когда заряжает мину.

Он взял гвоздь, но не спешил дотронуться до диска, начиненного взрывчаткой. Одно неловкое движение — и острая вспышка пламени. Взрыв. Землетрясение. Пустота. Не успеешь зажмурить глаза, почувствовать боли, понять, что погиб.

Мохов поставил взрыватель на предохранитель. Осторожно отвинтил капсюль, но с места мину не трогал. Одну за другой он нашел две нитки. Одна, скрытая ковриком, привязана к ножке кровати, другая — к низу печи. Это была опаснейшая мина натяжного действия с двумя сюрпризами. Достаточно было неосторожно приподнять или потянуть в сторону обезвреженный, казалось бы, диск — и человек попадал в смертельный капкан.

Через несколько минут, которые показались ему часами, Мохов отложил мину в сторону: она лежала на полу присмирившая, безобидная.

— Ишь модничает, — скорее с любопытством, чем с озлоблением сказал Мохов. — Сюрпризная игрушка, серьезная.

— Да уж, — подтвердил Хлястик, — с ней хаханьки плохие...

Он обшарил миноискателем крыльцо, коридор, вошел через дверь и начал обыскивать дом.

В доме, где много металлических предметов, миноискатель частенько врет. Нужно пересмотреть и перетрогать весь домашний скраб, всю мебель.

Прежде чем покинуть по-саперски обжитой дом, приятели сели на крыльцо и скрутили по сигарке.

Но покурить не пришлось. По деревне зачастили минометы. Проскакал связной. Где-то на задах деревни строчили из автоматов.

Командир саперной роты лейтенант Мокрый перебежал от дома к дому.

— Отходим! — крикнул он еще издали. — Задача выполнена. Утром придем на танках.

— Разрешите задержаться в деревне по личному делу? — попросил Мохов.

— По личному делу? — переспросил Мокрый. — Нашел время для личных дел! Противник рядом.

— Непорядок в этом доме, товарищ командир роты, — доложил Мохов. Он не хотел примириться с мыслью, что вся его работа пошла насмарку. — Приборочку надо сделать.

— Приборочку? — переспросил Мокрый. Он уже понял, о чем идет речь, и в глазах его, как у Мохова, зажегся веселый огонек. — А успеешь?

— Да пока из рук как будто ничего не выпадало.

— Тогда торопись, Мохов. А потом отползай за нами. Огородами, вон той лощинкой — до опушки.

На «приборочку» ушло минут десять. Посуда, мебель, самовар, мины — все было водворено на свои места. Когда Мохов перелез через подоконник и вставил обратно выбитую раму, на другом конце деревни уже показались фашисты. Они продержались в Черемшанке недолго. Утром саперы «пропололи» минное поле, открыли дорогу танкам, и деревня снова перешла в наши руки.

Мохов и Хлястик прошли вперед по улице, но не нашли домика с крыльцом. На его месте были развалины. Около дома лежало шесть фашистов, лица их были обожжены черным минным порохом.

— Доигрались! — сказал Хлястик, презрительно сплюнув. — Забыли, где сами наследили. Что же они, своих мин не признали?

— Свои-то мины они, может, и признали, — сказал Мохов и лукаво улыбнулся. — Только я вчера в доме после приборочки еще и перестановочку сделал. Один секретный шнурок на них истратил. Ну и мину, конечно, тоже пришлось к тому шнурку привязать.

— Сюрпризная работа... С ней хаханьки плохие, — сказал Хлястик почтительно.

Он сдвинул на затылок большую каску и вытер платком задымленное лицо.

1942







## ВОЗВРАЩЕНИЕ НА АЭРОДРОМ

Дым проник в кабину, дышать стало нечем, и захотелось сорвать с головы потяжелевший шлем, будто именно он затруднял дыхание.

Мартынов дернул за красную рукоять справа от сиденья и сорвал колпак. Когда летчик срывает колпак со своей кабины, то подает последний сигнал бедствия.

Морозный воздух, плотный, как лед, ворвался в кабину горящего самолета и ударил в лицо.

Мартынов и его штурман Армашев были очень близко от линии фронта, но летели еще над территорией, занятой врагом, и потому считали для себя парашюты противопоказанными. Может, все-таки удастся дотянуть до своих? Ведь несколько минут лету, всего несколько минут — и машина перетянет через линию фронта.

Но огонь уже перекинулся по бензопроводке к правому мотору, и тот задымил багрово-черным дымом. Пламя заплесало на плоскости, знойный чад обжигал дыхание пилота и штурмана.

Мартынов и Армашев объяснялись при помощи рук: когда четыре «Фокке-Вульф-190» атаковали «Петляков-2», изрешетили его пулями, отказало переговорное устройство. Однако напоследок Мартынов услышал сообщение штурмана:

— Бомбы сбросил.

Семьсот килограммов взрывчатки были точно обрушены на скопление автомашин у моста, и машины разметало во все стороны, как игрушечные.

Сперва Мартынов изо всех сил тянулся за восьмеркой своих бомбардировщиков — они направлялись домой, на свой аэродром, — но потом передумал и отвернул в сторону. Сейчас лучше не пристраиваться к своим, чтобы не навести на их след противника. Мартынов представлял себе, какой шлейф черного дыма тянется за его искалеченной машиной.

Внизу виднелся бескрайний лес с редкими полянами и прогалинами. Ни одной подходящей посадочной площадки! Впрочем, они пока еще не собирались садиться.

Армашев то и дело с тревогой всматривался в карту, тыкал в нее пальцем, указывал пилоту точку, над которой они находятся.

Наконец, Армашев поднял руку, растопырив пальцы, и Мартынов понял, что их отделяют от линии фронта пять километров, всего пять километров!

Но было уже поздно. Мартынов до отказа перекрутил штурвал влево — все равно машина валилась вправо. Затем правая плоскость, вся в огне, начала разламываться. Оба поняли, что это — конец.

Мартынов выключил моторы над самыми верхушками елей и начал планировать на заснеженную поляну, белевшую неподалеку. Шасси Мартынов не выпускал, он решил поставить под удар крыло и тем самым смягчить падение самолета.

Снег на поляне лежал глубокий, машина проскользила немного, застряла в снег и остановилась.

Армашев, который сидел позади пилота, могучим плечом уперся в спинку переднего сиденья и крепко обхватил Мартынова за грудь, чтобы того не бросило о доску приборов или о прицел.

Даже в момент страшного удара о землю Мартынов не выскользнул из этих дружеских объятий.

Колпак был сорван, и потому кабину всю, до краев, забило снегом. Он засыпал летчиков с головой. Выкарабкались почти одновременно.

Их оглушила неслыханная лесная тишина.

— Жив?! — воскликнул Мартынов тоном вопроса и счастливого утверждения, когда Армашев вслед за ним выпрыгнул из кабины в глубокий снег.

— Кажется, не умер, — солидно пробасил Армашев.

Оба огляделись, торопливо отстегнули парашюты и заторопились к лесу, увязая по пояс в снегу.

Оба проклинали глубокий снег, тот самый снег, который спас их, потому что самортизировал удар о землю.

С минуты на минуту могли взорваться баки с горючим, а кроме того, нужно было как можно скорее спрятаться от назойливого немецко-

го истребителя. Он сопровождал смертельно раненный пикировщик, а сейчас кружился над горящим самолетом. Фашист, наверное, расстрелял бы их сверху, но у него кончились боеприпасы. Это стало ясно Мартынову и Армашеву еще в воздухе.

Они отползли от горящего самолета метров триста, укрылись за деревьями и, шумно дыша, стали наблюдать за машиной.

«Фоккер» еще кружил над местом посадки — фашист заметил, что экипаж спасся и скрылся в лесу. Может, хотел навести на их след погоню.

Впрочем, следы видны и без подсказки с воздуха. Прямо-таки траншею вырыли они в снегу, когда продирались к лесу!

Летчики поспешно углубились в лес.

Не успели они отползти-отшагать-отбежать и полукилометра, как раздался сильный взрыв — пламя дошло до центрального бака.

Как по команде, обернулись назад, увидели дым за хвойным частоклом. Оба горько вздохнули, а Мартынов вспомнил:

— И бортовой паек сгорел.

В зеленом ящике на борту самолета остался их неприкосновенный запас — мясные консервы, галеты, сахар, шесть плиток шоколада. Об этом сказочном богатстве не раз вспоминали летчики во время скитаний в прифронтовых лесах.

Мартынов не дотянул до линии фронта каких-нибудь три с половиной километра. Казалось бы, рукой подать! Но большим, бесконечно большим оказывается такое расстояние, когда земля изрыта вражескими окопами и траншеями.

Армашев не мог, прячась в лесу, видеть окопы и траншеи. Но он видел их сверху, он знал, что на этом участке фронта у немцев очень разветвленные линии траншей, что у них есть и вторая и третья линии обороны. Фронт западнее Думиничей уже несколько месяцев стоял без движения, и нетрудно представить себе, как обжились немцы в лесу, как окопались на опушках и в поле.

У летчиков были при себе лишь пистолеты, по восемь патронов, да еще по семь — в запасных обоймах. Хотя бы парочка гранат! Значит, нужно, не ввязываясь в драку, незаметно пробраться мимо немецких позиций, пройти через проволочные заграждения и минные поля к своим.

Выпрыгивая из самолета, Армашев успел засунуть за голенище своего унта «пятикилометровку». На карте такого масштаба пять километров земной поверхности втиснуто в один сантиметр. Скверный, прямо скажем, помощник при блуждании по лесу. Но без карты еще хуже.

Армашев привык сверяться с «пятикилометровой», глядя на землю сверху, через прозрачный пол кабины. А сейчас приходилось «прокладывать курс», ползая по глубокому снегу, ориентиром служили только заснеженные верхушки елей над головой.

Пусть бы еще ухудшилась видимость, пусть бы пошел густой снег! Снегом замело бы их следы.

Первую ночь отлеживались в снегу, под обрушенной елью. Видимо,

снаряд срубил эту ель недавно: мохнатая хвоя еще не осыпалась. В поверженной на снег ели удалось неплохо замаскироваться.

Где-то на лесной опушке раздавались окрики немецких часовых, строчили автоматы и пулеметы, загорались и гасли ракеты, а на востоке тревожно вспыхивали зарницы и сполохи переднего края.

Утром поползли на восток, но несколько раз едва не столкнулись лицом к лицу с немцами — ими кишел лес.

Очевидно, дорогу к линии фронта следовало искать где-то в другом месте, а не здесь, где немецкая оборона распространялась на большую глубину.

Голод еще не давал себя знать, может, потому, что у Армашева оставалось несколько папирос, но обоих мучила жажда. Сколько ни ешь пресного, безвкусного снега — все пить хочется.

Как-то метрах в двадцати от летчиков, залегших в сугробе, прошел по тропке фашист с двумя ведрами воды. Мартынов уже готов был наброситься на фашиста и отнять у него воду, но благоразумие все-таки взяло верх.

На третьи сутки лесных блужданий летчики набрали на кустик калины, который рос у входа в немецкий блиндаж. Ягоды алели на оголенном от листьев кустике, как капли крови. Летчики заворуженно смотрели на ягоды. Армашев несколько раз принимался пересчитывать ягоды, но каждый раз сбивался со счета.

Из блиндажа тянуло пахучим дымком. По тропинке туда и обратно сновали солдаты, но Мартынов все-таки пополз к кусту. Армашев поставил пистолет на боевой взвод и приготовился прикрыть вылазку друга.

Все обошлось благополучно, и через несколько минут Мартынов вернулся, зажав в руке ветку калины.

Странно: когда Армашев с вожделением глядел издали на калину, ему казалось, что ягод больше. Может, переспелые ягоды осыпались, когда Мартынов обламывал куст? Или у наблюдателя от голода двоилось в глазах?

Они насчитали восемнадцать ягод. Хорошо, что четное число — легко делить. Итак, по девять ягод на брата.

До сих пор Армашев не знает, действительно ли так сладка вымороженная калина, или ему это тогда показалось. Он тщательно разжевывал мякоть каждой ягодки, разгрыз и заглотал косточки.

На пятые сутки, к вечеру, они, обходя немецкие укрепления, набрали на безлюдную траншею. В траншее стоял зачехленный пулемет, пулеметчиков поблизости не было видно. Может, это ложный передний край противника? А может, солдаты ушли греться, полагаясь на своих соседей?

Засиживаться в траншее опасно. Летчики шепотом посоветовались и поползли вперед.

Вскоре они добрались до нейтральной полосы между нашими и немецкими окопами и зарылись в сухой валежник.

Огневые точки немцев остались за спиной. Теперь летчики лежали под перекрестным огнем. Когда начиналась перестрелка, пули свистели над головой. Наши пулеметы вели дуэль с немецкими и, очевидно, уже пристрелялись друг к другу. Ничейная земля не подвергалась обстрелу.

Не потому ли она так пустынна, что заминирована? Армашев высказал такое опасение, но Мартынов небрежно отмахнулся и возразил: противотанковая мина не срабатает, ей нужно давление побольше. А от противопехотной уберезжет глубокий снег.

Армашев лежал и глядел назад. Он внимательно наблюдал за расположением огневых точек противника, потом подумал: «Свои огневые точки тоже следует знать. Ну хотя бы для того, чтобы не попасть под пули, когда поползем вперед».

Валежник был дубовый, и сухие листья еще держались на ветках. Армашев оторвал край карты, накрошил листьев и с наслаждением закурил, пряча сигарку в рукав. Сделал несколько затяжек и Мартынов.

Товарищи дождались темноты, разгребли гостеприимный валежник и двинулись вперед. Благополучно миновали пустынный перелесок. Время от времени немцы пускали ракеты, и тогда Мартынов и Армашев падали ничком в снег.

Они все дальше уходили от этих ракет. И вот ничейная земля осталась за их спинами. Они перелезли в темноте через колючую проволоку, сильно ободрав при этом руки.

— Ну, Михаил Иванович...

— Ну, Григорий Иванович...

— Кажется, пришли домой?

— Порядочек!

Товарищи повернули или, говоря штурманским языком, «довернули» вправо, туда, где в полутьме показались очертания каких-то домов. Вышли на окраину пустой, будто вымершей деревни.

— Может, переночуем в снегу? — предложил Армашев. — Еще свои подстрелят, не ровен час.

— Ну нет. Я хочу сегодня чаю выпить, — сказал Мартынов.

Он попытался вслед за Армашевым перепрыгнуть через траншею, но не рассчитал сил и свалился в нее. Армашев принялся вытаскивать товарища. Возню услышали в нашем боевом охранении. Раздался сухой щелк затвора и строгий окрик:

— Стой, кто идет?

— Свои, свои идут, а вернее сказать, ползут! — заорал Мартынов, не помня себя от радости. — Такие свои, что дальше некуда. Что же ты, своих не узнал?

— Пароль?

— Тоже нашел что спрашивать! — Мартынов артистически выругался. — Да что мы, друг ситный, сегодня из дому, что ли?

И такая неумная, заразительная веселость звучала в каждом слове Мартынова, что часовой уже более доверительно спросил:

— Да кто вы такие?

— Из разведки явились. — Мартынов снова выругался, так сказать, от полноты чувств.

— Ругаться по-русски ты, браток, не разучился. Сколько вас там?

— Двое.

— А на шумели на целый взвод!

— Попробовал бы ты пять суток шептаться да на цыпочках ходить — еще не так заорал бы на радостях!

Минуту спустя их под конвоем вели для «удостоверения личности» к какому-то капитану.

— Вовремя, однако, я растянулся там, возле траншеи, — усмехнулся Мартынов и подтолкнул своего спутника. — А то бы нас обязательно подстрелили. И жаловаться было бы некому...

Через четверть часа летчики сидели в землянке пехотного капитана в чужих полушубках, в чужих валенках и, обжигаясь, прихлебывали чай из кружек. Пехотный капитан не уставал сокрушаться, что фляжка у него пустая и гости не могут согреться чем-нибудь более существенным.

В углу около печки лежали в куче мокрые унты, комбинезон и реглан — от них густо подымался пар.

— Не понимаю только, как вы уцелели! — удивлялся капитан. — Два минных поля прошли. Немецкое и наше. Ничего не понимаю!

Дымящиеся кружки уже пошли по второму кругу, а капитан все еще всплескивал руками и от удивления не мог усидеть на месте.

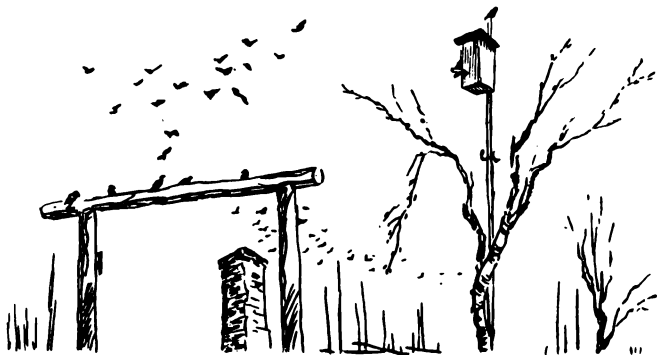
— Снег глубокий выручил, — засмеялся Мартынов. — Русская зимushка-зима о нас позаботилась.

Если не считать той калины, товарищи не ели шесть суток, но голода не чувствовали. Волчий аппетит пришел позже, когда они обогрелись и выпались.

Расставаясь с гостеприимным комбатом, Армашев не забыл оставить ему карту, на которую нанес план немецких укреплений. Он указал огневые точки противника, обозначил ложный передний край его обороны.

В качестве наземного разведчика флаг-штурман полка бомбардировщиков Армашев выступал впервые. Однако, судя по лицу пехотного капитана, штурман со своей задачей справился.





## НОВОСЕЛЬЕ

Бойцы ступают по голубым лужам, в них отражается просторное майское небо. Снега не видно. Он сохранился только в воронках от бомб и в заброшенных окопах по сторонам дороги — подточенный вешней водой, черный снег.

Полы у обоих путников подоткнуты. Ноги чуть ли не по колено в дорожной грязи, злой и прилипчивой. За плечами — винтовки и вещевые мешки, за поясами — топоры.

Нелегко шагать по весенней грязи, когда распутица сделала дорогу непроезжей и непроходимой, как будто отодвинула верстовые столбы один от другого. До деревни Высоково саперы добредают, когда солнце уже над головой.

Деревня сожжена дотла. Черные остовы печей указывают, где стояли дома. Изгородями огорожены квадраты голой земли. Во всей деревне сохранилось два дома и несколько бань.

У домов стоят полуторки и автофургон, забрызганный грязью до крыши шоферской кабины. Наверно, народу в оба дома набилось битком. — Лучше на солнышке посушимся, — говорит в раздумье сапер, рстом повыше.

Он сворачивает с дороги, открывает калитку и ступает дальше по пустырю, к печи, стоящей под открытым небом.

Через несколько минут печь растоплена. Сизый дым поднимается

вверх, в голубое вымытое небо. Саперы сидят рядом на теплых камнях; разулусы, сушат портянки, сапоги, кипятят в котелке воду.

— Весна, — неопределенно замечает низенький красноармеец, шу-рясь на солнце. — Весна, товарищ сержант, в полной форме.

Сержант ничего не отвечает и тоже шуруется на солнце.

Воздух будто процежен, и столько в нем свежести, что люди вдыхают его с наслаждением. Усердное, работающее солнце припекает. Теплый пар поднимается от земли. Слышится щебет и гомон скворцов. Их не трудно узнать по черному оперению с зеленоватым отливом, по клюву и прямому короткому хвосту. Сержант Мохов видит скворцов в луже. Они бьют крыльями по голубой воде, будто плавают в ней, будто не крылья у них, а плавники, не оперенье, а черная чешуя.

Скворцы сидят на перекладине пустых ворот, не ведущих никуда, на плетне, на дымоходе разрушенной печи, на обугленной березе.

Сейчас все деревья голы, и береза, опаленная огнем, ничем не выделяется на общем фоне. Но грустно будет смотреть на уродливые черные ветви летом, когда соседние деревья зашумят зеленой листвою.

Шумно махая крыльями, скворцы перелетают с места на место, приземляются на сухой бугорок. Птицы ходят по земле слегка пошатываясь походкой, потом вновь взлетают.

По всему видно, скворцы не могут найти себе места.

— И пташку нашу он обидел, не только человека, — печально замечает Хлястик; так в саперной роте прозвали красноармейца Петра Хлестова.

— От него больше ничего ждать не приходится, — отзывается сержант Мохов.

Собеседники не называют противника иначе, как «он», и произносят это слово с брезгливой злобой.

— Пташка летела из дальней местности, надеялась на свою квартиру. А он все нарушил, все огнем сжег. Вот шест стоит — без последствий...

И Хлястик указывает на обугленный вверх шест. На нем, по-видимому, был скворечник.

Хлястик суетливо достает из мешка кусок хлеба и бросает крошки на подсохший пригорок. Скворцы шумно машут крыльями, ступают по теплой земле, клюют крошки сильными прямыми клювами.

— Сказывают, скворцы зимой в Африке проживают, — замечает Мохов неуверенно.

Нельзя понять, спрашивает он или утверждает.

— Подумать только, откуда прилетели! Из африканских мест! — удивляется Хлястик. — Прямо как по радио... Прилетели пташки домой, а дома нет. Уж он постарался! И птицы теперь вроде беженцев.

Неожиданно Хлястик вскакивает, вытягивается босой около печи — на ней сушатся сапоги и портянки — и говорит:

— Разрешите, товарищ сержант, сколотить скворечню! Пока амуниция сохнет.



— За счет положенного отдыха разрешаю, — говорит Мохов и после небольшой паузы добавляет, меняя тон: — Пожалуй, я тоже поплотничаю...

Саперы достают топоры, находят полусгоревшие дощечки, которые зимовали в углях, в пепле, и принимаются за работу.

Топоры летают, как птицы, голубое небо отражается в полированных полосках лезвий, и по тому, как спорится работа в умелых руках, видно, что плотники очень соскучились по такой работе.

Все последние месяцы они рубили лес для завалов, укладывали в три бревна накаты для блиндажей, строгают колья для проволочных заграждений.

А хочется построить что-нибудь на долгие годы, срубить, к примеру, новый дом, чтобы в деревне опять запахло дымом, да не горьким дымом пожараща, не смрадной гарью, а запахом очага, теплого человеческого жилья.

Вскоре оба ящичка готовы. Найдены в золе обгоревшие гвозди. Хлястик, не надевая сапог, карабкается на березу и пристраивает скворечник на ее верхушке. Мохов укрепляет его на шесте. Скворечнички установлены по всем правилам — обращены лётками на юг.

И сразу же поднимается гомон и щебет. Идет распределение жил-площади по каким-то таинственным птичьим законам. ПERNАТЫЕ старожилы здешних мест справляют новоселье и суетятся при этом совсем как люди. Мохов долго и внимательно смотрит на птичью возню.

— Ну вот, — говорит он, — пташек под крышу определили. Придет время — для народа дома срубим. Еще какие крылечки понаделаем, ставни, лавочки!.. Чтобы издали признавали гвардейскую работу. Здесь знаешь какой лес кругом? Строевой! Мачты можно для кораблей рубить! Древесина в смоленских лесах богатейшая!

Хлястик ничего не говорит, но по всему видно, что думает он о том же.

Саперы кладут топоры на плечи и отправляются в путь. Они ступают по голубым лужам, и майское солнце горит на лезвиях топоров.



## СОДЕРЖАНИЕ

«ЯЗЫК» МОЙ — ВРАГ МОЙ . . . . .	3
НА ТОТ БЕРЕГ . . . . .	8
БУТЫЛКА ИЗ-ПОД ЛИМОНАДА . . .	14
ХОДКАЯ ФАМИЛИЯ . . . . .	20
ДОРОГА НА ДОРОГБУЖ . . . . .	24
РЕКОМЕНДАЦИЯ . . . . .	31
ВОДОВОЗ . . . . .	34
ТРИНАДЦАТЫЙ ЛЫЖНИК . . . . .	40
ОБРЫВОК ПРОВОДА . . . . .	43
ЭТОГО НЕТ В ПОВАРЕННОЙ КНИГЕ .	46
ЕЩЕ ОДИН СЮРПРИЗ . . . . .	51
ВОЗВРАЩЕНИЕ НА АЭРОДРОМ . .	54
НОВОСЕЛЬЕ . . . . .	60

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

## К ЧИТАТЕЛЯМ

*Издательство просит отзывы об этой  
книге присылать по адресу: Москва, А-47,  
ул. Горького, 43, Дом детской книги*



## ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

### «ВЗЫК» МОЙ — ВРАГ МОЙ

Ответственный редактор З. С. Карманова. Художественный редактор Л. Д. Вирюков. Технический редактор Г. В. Гафт. Корректор Л. И. Дмитриук.  
Сдано в набор 13/II 1974 г. Подписано к печати 12/VI 1974 г. Формат 70×90/16. Бум. офс. № 1. Печ. л. 4. Усл. печ. л. 4,68. Уч.-изд. л. 4,03. Тираж 300 000 экз. А03867. Заказ № 917. Цена 16 коп.  
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Калининский полиграфкомбинат детской литературы имени 50-летия СССР Росглавополиграфпрома Госкомиздата СМ РСФСР. Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.

